

Владимир Доронин. «Колокола, бегущие меж облаками...»

* * *

...Этого человека я видела всего три раза.

Дважды – в местах традиционных прогулок рязанцев – возле Кремля и в районе Рюминой Роши. Встречный обращал на себя внимание видом импозантным: плащ, берет, борода – Хемингуэй в Париже, да и только! Он шествовал с собеседником. И кто-то мне сказал: «Это Доронин! Очень сильный поэт!».

И единожды – в зале одной из городских библиотек, где собирался поэтический клуб, обречённый на безвестность. Вошёл этот же «Хемингуэй» – только гораздо более старый и усталый. Его мигом узнал лишь один человек – музыкант и поэт Эдуард Панфёров. Эдуард был другом Владимира Ивановича Доронина, приглашал того к себе домой, советовался по поводу своего литературного творчества, и много позже назвал его, может быть, и тривиально, зато искренне «человеком с большой буквы, а может, следовало бы целиком написать большими буквами». И ещё – «человеком, с которым можно было НАПОЛНЕННО молчать». Ибо, сказал сам Доронин во время печальной встречи какого-то Нового года вдвоём со своим молодым товарищем, «когда мы говорим, мы мешаем чему-то главному». Эти слова и это осмысленное молчание Панфёров запомнил на всю жизнь.

Именно через Эдуарда Панфёрова состоялось моё заочное знакомство с поэтом и критиком Владимиром Дорониным. Причём – с критической ипостасью его многогранной натуры. Мимолётная встреча в библиотеке послужила поводом к общению, хоть и дистанционному. Интригую: а дело было так.

Доронина пригласили за стол, вокруг которого сидели тесной группкой называвшие себя поэтами. Но гость не задержался – недолго поговорил с Эдуардом в коридоре и ушёл. Оказалось, он и рад был бы с окололитературной братвой посидеть, да у него скоро уходила последняя электричка. Доронин торопился... в дом престарелых в деревне Авдотьянка Шилковского района Рязанской области. В этой обители он провёл последние годы жизни.

Когда у меня вышла первая книжечка стихов «Хочу любить» (Рязань, 1998 г.), Эдуард Панфёров предложил подарить её Владимиру Доронину, как отличному знатоку поэзии. Для меня Доронин был фигурой загадочной и неизвестной, но я доверилась Эдуарду и отправила через него книгу в интернат для престарелых. Для Эдуарда, человека также незаурядного, Доронин всегда служил авторитетом, «ориентиром» в культурном поле. Однако через несколько лет после кончины Владимира Ивановича Эдуард оставил собственные литературные «искания» и сосредоточился на музыке.

Через некоторое время Эдуард привёз мне восемь машинописных листов,

на которых был изложен полнейший разбор моей книжонки. Получить в ответ подробнейший разбор было неожиданно и лестно. Это был первый опыт полноценной критики моих опусов. Но только с течением времени я стала понимать, какой блеск и острота, какой критический талант скрыт за строчками этого отзыва – по правде говоря, отзыв Доронина – литературное произведение гораздо более художественное, чем его «объект».

Сегодня я написала без преувеличения том книжных рецензий и том критических статей. Все они появились в печати. У меня вышли книги и удостоились печатных же рецензий людей компетентных, высокообразованных и авторитетных. Но и на фоне этого «букета» первый критический – машинописный – разбор, что мне выпало счастье получить от пожилого человека, формально не причастного литературе, коротающего дни в доме престарелых, не меркнет, и не померкнет никогда.

О критическом таланте Доронина поговорим чуть позже. Но укажу тут на три немаловажных фактора. В первую очередь меня приятно поразило то, что человек по собственному почину проделал немалый труд. Во вторую – «царапнули» сделанные Дорониным замечания, хотя не отметить их справедливости я не могла и возражений не нашла бы при всём желании – а он был исключительно деликатен и всякое порицание выражал со старомодной галантностью дореволюционного интеллигента. В-третьих, покорила уникальная форма, в которую был облечён разбор: россыпи по тексту вписанных от руки французских и латинских фраз, цитат из стихов, изречений поэтов и писателей, скажем, Луи Арагона, Юрия Олеши; небрежное и выверенное щегольство оборотов («Однако статное, хорошо ухоженное слово радует и без всякой связи с проблематикой», «стоило бы, по-моему, разлучать стихотворения, не уживающиеся друг с другом на одном листе»); снайперская точность «уколов». От чтения отзыва я получила настоящее эстетическое наслаждение – и отнюдь не из личной предвзятости. Напротив: послание от Доронина я получила в 1999 году, а спустя несколько лет осознала бескомпромиссно, что стихи мои плохи – а благородный Владимир Иванович дал слишком большой аванс. Теперь я сама высказалась бы о своих стихах гораздо едче, нежели Доронин. Однако упоение его строками осталось...

Хочется верить, что моя книжонка скрасила Владимиру Ивановичу несколько скучных часов в доме престарелых. Мне же его отзыв «скрасил» гораздо больше – без преувеличения: представление о критике. Я поняла, что литературная критика может – и должна! – быть высокохудожественной. Наверное, доронинский отзыв на маломощные тексты был одним из важных «импульсов», которые и вывели меня, в конце концов, на стезю литературной критики.

Всё вышеизложенное может показаться пустяшными эпизодами. Но когда я задумала сделать очерк о Владимире Доронине, то столкнулась с тем, что все рассказы о Доронине – «лоскутное одеяло» из таких же фрагментов.

К сожалению, оказалось, что из тех, кто мог бы рассказать о Доронине, «иных уж нет, а те – далече». Те же, кто остался в Рязани и некогда общался с Владимиром Ивановичем, не располагали существенной информацией и лишь пересылали меня друг к другу. Я была упряма в своих поисках, но казалось, что некая сила противостоит мне. И всё же мне так хотелось написать об этой личности и этой судьбе, что я составила первый, краткий вариант очерка о нём на основе довольно скудных сведений. Тот лаконичный очерк о жизни и творчестве В.И. Доронина был опубликован в газете «Литературная Россия» от 21 июня 2013 года под названием «Я дуэлянт, гидальго» в рамках поэтического конкурса «Я был бессмертен в каждом слове...» памяти Бориса Примерова и награждён поощрительной премией конкурса. Но, не в обиду будь сказано организаторам, наибольшей наградой для меня стало то, что материал о Владимире Ивановиче с его стихами появился во всероссийской литературной газете. Далее – более развёрнутый, за счёт «литературоведческой» части, материал под названием «Владимир Доронин. «Колокола, бегущие вослед меж облаками...» появился в литературном журнале Союза писателей Москвы «Кольцо А» (№ 66 за 2013 год). Теперь в Интернете на поисковый запрос «Владимир Доронин поэт» выпадают ссылки на эти статьи, а «всемирная паутина» у нас нынче – главное мерило известности.

Доронин «вышел» с берега реки забвения. Думаю, с моей стороны это была справедливая, хоть и запоздавшая благодарность Доронину за тот разбор, как ни пафосно звучит, повернувший мою литературную биографию.

* * *

Очерк «Я дуэлянт, гидальго...» произвёл эффект, который не постыжусь назвать метафизическим, хотя и выглядело всё вполне реально. После выхода «ЛитРоссии» с этой статьёй со мной независимо друг от друга связались люди, близко знавшие Владимира Доронина с самого детства: Валентин Алексеевич Лимаренко и Ольга Ивановна Гришина-Чекмарёва. Оба они были готовы поделиться всем, что знали и помнили о нём. Ольга Ивановна даже написала несколько страничек воспоминаний специально для меня. Но я не буду приводить здесь весь её текст, а с благодарностью использую некоторые данные и фрагменты. Благодаря сведениям от школьных друзей Доронина этот очерк уже не будет столь «куцым».

Самым страшным в его биографии казалось мне то, что конец жизни уходил во тьму. Не в фигуральном, а в буквальном смысле.

Представьте, никто, даже Эдуард Панфёров, не знал, в каком году ушёл из жизни Владимир Доронин! То ли в 2001-м, то ли в 2002-м... Ведь это произошло в доме престарелых, все знакомые услышали печальную весть по факту.

Воспользовавшись правом журналиста «запрашивать, получать и распространять информацию», я обратилась в управление ЗАГС Рязанской области,

надеясь получить там хоть не гербовое свидетельство, но справку о смерти Владимира Ивановича. Оказалось, что, не будучи родственницей, я не могу запрашивать эту информацию! Доводы о журналистском и «околонаучном» интересе не возымели действия. И дата ухода из жизни Доронина оставалась «белым пятном», когда я писала о нём очерки в различные издания.

Только в августе 2014 года, после моей поездки в Шиловский дом-интернат для престарелых и инвалидов, как официально называется это социальное учреждение, завеса неизвестности раскрылась. Директор Шиловского дома-интерната Галина Николаевна Екимова на просьбу посылить помочь в сборе информации для будущей книги Владимира Доронина отреагировала быстро и человечно: попросила сотрудников поднять личные дела «клиентов», как называют в доме-интернате постояльцев, за начало «нулевых», и обнаружила дело Владимира Ивановича. Он скончался 18 мая 2002 года. Огромное спасибо и низкий поклон Галине Николаевне и всему коллективу дома-интерната за эту информацию!

К сожалению, уже не осталось в живых непосредственных «соседей» Доронина по пребыванию в этом учреждении, да и среди персонала не нашлось «современников». Ведь прошло двенадцать лет... На тихом кладбище под берёзами я не смогла отыскать могилу Владимира Доронина. Но общий вид кладбища живо напомнил мне строки Некрасова:

*Будут песни к нему хороводные
На заре из села долетать,
Будут нивы ему хлебородные
Безгреховные сны навевать.*

Надеюсь, там Владимир Иванович Доронин наконец обрёл покой.

Почти безуспешно я искала фотографию (или иное изображение) поэта. Говорили, что художник Сергей Ковригин нарисовал для своей выставки прелюбопытный портрет Владимира Доронина – «открытая» черепная коробка, под которой выступал другой мир. Но... «этюд в стиле кубизма» (так охарактеризовал его художник) автор уничтожил, ибо был им недоволен. В итоге отыскался всего один прижизненный снимок Доронина – использованный в этой книге.

О Владимире Доронине можно и должно говорить, не разделяя его профессиональных ипостасей. Инженерное образование сказалось, вероятно, на его тяге к литературному «конструированию». Хороший поэт, утверждают практически все, профессионально занятые поэтической аналитикой, одновременно и чуткий и тонкий критик поэзии. Поэтому очерк о Доронине-поэте невозможно отделить от очерка о нём же как о региональном литературном критике без того, чтобы это выглядело искусственно. Тем более, что критик, живущий в провинции – явление редкое и уже потому интересное; а критика Доронина интересна сама по себе.

И невозможно разграничить очерк о творце с очерком о человеке.

Владимир Иванович Доронин был вторым браком женат на журналистке, культурном обозревателе рязанской областной «Приокской правды» и других местных изданий Галине Петровне Черновой (1938–2012). Он с детских лет воспитывал сына Галины Петровны и рязанского поэта Евгения Фёдоровича Маркина (1938–1979) – ныне режиссёра и театрального педагога Романа Маркина. Однако брак Доронина и Черновой тоже распался в начале 80-х. Но до того момента Доронин и Чернова активно сотрудничали в поле культурной журналистики. Они писали рецензии на книги рязанских писателей и регулярно обозревали театральные постановки, как местные, так и гастрольные. По словам Романа Маркина, Доронин часто писал для «Литературной колонки» областной газеты «Приокская правда». Не обходил вниманием и творчество художников. Писал о скульпторе Антонине Усаченко (1938–2002) в связи с тем, что её скульптура «Псковитянка» получила премию Ленинского комсомола.

Мне удалось отыскать три печатных «критических» работы Владимира Доронина (о них – ниже) и три театральные рецензии из рязанских газет 1981–1982 годов: «Чужого горя не бывает», «С участием рязанского актёра», «Оптимистическая трагедия». В последней речь идёт не об одноимённой трагедии Всеволода Вишневского, а о спектакле «Пугачёв» (по Есенину) режиссёра и исполнителя ролей Алексея Сысоева. Действо это было революционным для начала 80-х: один человек исполнял порядка 30 ролей; в театральном «мейн-стрим» такая манера входит только сейчас. Её, как и актёрское мастерство Сысоева, перевоплощавшегося в разных персонажей молниеносно и красиво, Доронин оценил по достоинству.

А также Доронин писал тексты для радиопередачи «Искорка» (рязанский аналог «Пионерской зорьки») – сказки, рассказы, скетчи. Мамы, в начале 80-х воспитывавшие маленьких детей, помнят Доронина как детского автора. Но после его развода с Галиной Черновой все его публикации «как рукой сняло». Недаром сейчас столь трудно отыскать свидетельства того, что этот человек жил и работал в Рязани. В тексте «Сцены из хроники времён Жени Маркина», глубоко личном и исповедальном, много рассказано о семейной жизни Доронина, избыточном соперничестве его с Маркиным из-за любимой ими обоими женщины, о догадках Доронина по поводу «забвения», в которое он впал после развода... Откровение выражено устами Евгения Маркина: «Она не простит тебе моей смерти. ...Как только умру, она сделает из тебя врага, о каком могла до сих пор только мечтать». Возможно, информационная «блокада» действительно связана с семейными делами творческого дуэта – точнее, треугольника Чернова – Маркин – Доронин. Но, возможно, отсутствие публикаций и памятников его литературной деятельности (в том числе в Интернете) – следствие *не злого умысла, а отсутствия умысла доброго*. Архивы сами по себе не создаются, их кто-то должен формировать – и, видно, никто не занялся составлением «публичного» доронинского архива.

Сам он, похоже, жил по завету Пастернака:

*«Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись...».*

Владимир Доронин очень многое из написанного им сжёг. Что-то – ещё при семейной жизни с Галиной Черновой (об этом сказано в «Сценах из хроники»), что-то – собираясь отправиться в свой последний приют в Шиловском районе. Нет – предпоследний: последним приютом для всех живых становится земля. Какие-то подборки рукописных стихов и прозы он роздал друзьям. Так, у доброй знакомой Владимира Доронина Татьяны Шиллер (в девичестве Скороходовой, дочери рязанского поэта «военного» поколения Александра Скороходова), обнаружилась рукопись книги Доронина «Эпилоги», с которой читатель ознакомится через несколько страниц предисловия.

Рукопись, представлявшую собой «имитацию» будущей книги, с оглавлением, нумерацией страниц, сносками, только на скверной разнородной бумаге, чернилами нескольких оттенков и скачущим почерком смертельно усталого человека, Доронин подарил Шиллер примерно за год до смерти. Фотография в этой книге – тоже из личного архива Татьяны Шиллер. Групповой снимок изображает поэтессу Лидию Александровну Нефёдову, Татьяну Александровну и Владимира Ивановича во время одной из поездок в Константиново на Есенинский праздник. Также у Татьяны Шиллер сохранилось единственное письмо, присланное Дорониным из дома престарелых. Писано оно вскоре после прибытия туда, когда адресант находился в карантине и осваивался с местом и окружением. Эта эпистола, как и письмо ко мне, полностью приведена в приложениях к книге стихов. В этом письме сказано конкретно: «Сейчас у Наташи (дочери Владимира Ивановича от первого брака. – Е.С.) остались лишь «Томик в избранном» и «Вопросы языкознания». Остальное сожжено».

Татьяна Шиллер отдала Владимиру Доронину перед его отъездом в дом-интернат механическую пишущую машинку. На ней он «набивал» свои последние работы. Между прочим, планов у него было, простите за избитое выражение, громадье. Любопытный да ознакомится в письме Доронина со списком творческих задумок, которые он надеялся реализовать в доме престарелых: дописать роман «Второе пришествие», восстановить по памяти шесть рассказов, столько же написать новых и составить два тома автобиографических повестей (посвящённых друзьям) – «Без определённого места жительства» и «В определённом месте жительства». Даже не «надеялся», а «обещал»: «Пока всего не сделаю, не умру».

Нет, не «домом скорби» и не «мёртвым домом» предстал Владимиру Доронину интернат для престарелых! По крайней мере, сразу по приезде. «Я не хочу, чтобы содержанием книги II стал «Дом скорби в 75 изумлениях», – писал он Татьяне Шиллер там же, где делился творческими планами. Однако были ли созданы все эти рукописи, сохранились ли, – тайна сия велика есть.

Но, безусловно, пишущая машинка не скучала без дела. Так, письмо мне

напечатано во втором экземпляре, за что адресант обаятельно извинился. Но почему книга Доронина написана от руки, а не на печатной машинке, навсегда останется загадкой. Мелкой – относительно других «белых пятен» его судьбы, – но неразрешимой.

Всё же мне удалось восстановить основные вехи биографии Владимира Доронина. Хотя и с лакунами, «купюрами» и противоречиями.

* * *

Он родился 22 ноября 1935 года в Восточной Сибири либо на Дальнем Востоке. Относительно места рождения есть расхождения – пасынок Роман Маркин, подруга детства Ольга Гришина-Чекмарёва говорили о Хабаровске, подруга Татьяна Шиллер – об Иркутске. Отец Доронина занимал высокий партийный пост – второй либо даже первый секретарь крайкома (обкома?) и разделил судьбу многих партийных и советских деятелей той поры. В 1937 году Владимир Доронин остался без отца, а его мать в 24 часа выслали из города. Ольга Гришина-Чекмарёва свидетельствовала, что мать Доронина вынуждена была отречься от своего мужа, отца маленького Володи, Ивана Ноговицына. Она вернула свою девичью фамилию, её передала и сыну, который стал Дорониным, а не Ноговицыным. Побеседовав с Ольгой Ивановной, я сделала вывод, что остаться без отца и всю жизнь провести под материнской фамилией было для Доронина не просто актом гражданского состояния, но каким-то мистическим «фактом силы», повлиявшим на его натуру, в конечном итоге и судьбу.

Антонина Доронина была личностью незаурядной, это подтверждают не только Гришина и Лимаренко, но и многие выпускники как 1-й женской школы города Рязани, так и Рязанского педагогического института. В обоих этих учебных заведениях она преподавала, переехав в Рязань. Путь в Рязань для матери и сына был труден – и не только в смысле тягот и лишений дальнего переезда.

Первой поведала мне историю приезда Дорониных в Рязань Татьяна Шиллер. Этот рассказ был, вероятнее всего, запомнен со слов самого Владимира Ивановича – он сентиментален, а его драматичность тонко опозитизирована. Поначалу маленькая семья перебралась в Спасск-Рязанский, в котором и прожила всю войну. В Спасске Антонина Александровна Доронина бедствовала: её не принимали на работу как жену «врага народа», она была близка к отчаянию, как Цветаева в Елабуге. Якобы раз она посадила маленького сына на санки и... спихнула с крутого берега на лёд Оки, в польню. Санки зацепились, не доехав немного до проруби. Это женщина восприняла как знак судьбы: спустилась, взяла Володю на руки и обещала: «Ну, теперь, сынок, будем жить!». Но эта щемящая история расходится с данными из воспоминаний Ольги Ивановны, которая пишет, ссылаясь на слова учительниц Половской семилетней средней школы, что Антонина Доронина была заведующей

Спасским РОНО и пользовалась авторитетом у всех преподавателей района.

После войны Антонина Александровна с сыном переехала в Рязань и устроилась на работу сперва в 1-ю женскую школу, а во 2-ю, мужскую, отдала Володю. В 1-й женской школе она вела уроки по истории в классе Оли Чекарёвой, и девочка на всю жизнь подпала под влияние сильной натуры Антонины Александровны, яро высказывавшей самые «революционные» взгляды. Влияние это в чём-то выражалось анекдотично: разговаривая со мной, немолодая обаятельная женщина мельком упомянула, что она, как и все ученицы и студентки Антонины Дорониной, по сей день не может носить дамские украшения – так убедила их Доронина, что это мешанство, так запомнилось Ольге Ивановне, что кого-то она высмеяла за простенькие серёжки. Сама она внешне походила на Надежду Крупскую и копировала её аскетичную манеру в одежде и причёске.

Ольга Ивановна вспомнила, что Антонина Доронина не любила говорить о своей семье, о происхождении, и лишь один-единственный раз обмолвилась, будто её отец был железнодорожным служащим. Зато с охотой рассказывала ученикам и членам школьного исторического кружка о своём участии в Гражданской войне, о боях с басмачами в Средней Азии, о строительстве Комсомольска-на-Амуре. Из этих рассказов следовало, что Антонина Александровна ушла из отчего дома в 14 лет и пришла в революционную армию, выдав себя за 16-летнюю, так как была крупной и высокой; сначала служила писарем, а потом бойцом. Владимир Иванович рассказывал знакомым, что его мать стреляла по басмачам «между ушей» лошади, на которой скакала. Умение Дорониной метко стрелять проявилось через многие годы неожиданно.

«В середине 50-х годов в Пединституте проводились соревнования по стрельбе среди преподавателей – она заняла первое место, хотя там участвовали бывшие фронтовики», – пишет Ольга Ивановна.

В пединституте Антонина Александровна Доронина более двадцати лет была заведующей кафедрой педагогики и несколько лет – деканом литфака. Написала докторскую диссертацию по педагогике на основе опыта работы Рыбновской школы-интерната. Получила от института трёхкомнатную квартиру в центре Рязани, в «сталинке» на углу Первомайского проспекта и улицы Дзержинского, где парикмахерская «Улыбка».

Но даже преданная памяти любимой учительницы Ольга Ивановна Чекарёва-Гришина не может умолчать о том, насколько неоднозначной личностью была инициативная, энергичная, «идейная» Антонина Александровна. По словам Ольги Ивановны, Доронина всегда «выделяла» учениц и студентов из рабочих и крестьянских семей, а интеллигенцию как-то недолюбливала, высказывалась публично только в духе «классовой морали». И в то же время, утаивая своё происхождение, она отдала сына – в совершенно «интеллигентском» духе – учиться музыке, да к кому!.. К Наталье Дмитриевне Солодовниковой, дочери известного историка и краеведа, бывшего члена

Рязанской Учёной Архивной комиссии, типичной представительнице советских «унесённых ветром», попросту сказать – «из бывших». Наталью Дмитриевну Ольга Ивановна описывает как женщину «гуманную, скромную, по-светски воспитанную, но часто беззащитную и беспомощную» (её выселяли из дома представители «гегемонов», а она не смела противостоять их напору), владелицу старинных книг и комплектов журнала «Нива» за много лет. С этими сокровищами Наталья Дмитриевна позволяла знакомиться всем, кто брал у неё уроки музыки. Она прививала детям любовь к классической музыке, в том числе беседами о великих композиторах прошлого, и никогда не произносила в адрес ребят ни единого грубого и даже простонародного слова. Много позже Владимир Иванович посвятил учительнице музыки трогательное стихотворение.

Оно есть в этой книге: посвящение «Оленьке Чекмарёвой», начинающееся словами:

*Весьма почтенная седая дама,
которая (ты помнишь?) нас учила
гармонии и такту...*

По мнению Ольги Ивановны, учительница музыки оказала на душу Володи не менее сильное воздействие, нежели родная мать. Но – вот беда! – они были антиподами. Возможно, разрыв между этими двумя «духовными полюсами» впоследствии оказался пагубным для Владимира Ивановича... Станным образом всё, что мне удалось о нём узнать далее, явственно показывает, что он никогда не умел жить «как положено», поддерживать большинство и вслух говорить не то, что думает. Что великолепно умела его мать. При жизни Сталина, пишет в своих воспоминаниях Ольга Ивановна, Антонина Доронина на каждом уроке подчёркивала исключительную роль Вождя во всём, происходящем в СССР, «буквально делая сталинистов из своих учеников». В итоге в марте 1953 года несколько старшеклассников рванули в Москву на похороны Сталина, «поймать» дирекции школы удалось лишь опоздавших на поезд. А спустя три года «она с торжеством зачитывала студентам доклад Н.С. Хрущёва о разоблачении культа личности Сталина. В этот год *не все ученики* (выделено Ольгой Ивановной. – Е.С.) её класса пришли к ней домой на ежегодное чаепитие с тортом «Наполеон», который она сама пекла».

Ольга Ивановна считает Антонину Александровну «революционером-романтиком, типа А. Гайдара и Н. Островского». Но, может быть, было проще и страшнее: пострадав в молодости, потеряв мужа и «доверие партии», она всю оставшуюся жизнь старалась делать всё, чтобы не повторилась та ситуация, и следовала не столько за собственными убеждениями, сколько за «генеральной линией». Возможно, в глубине души Доронина была интеллигентной женщиной, ценившей хорошее воспитание – отсюда и «старорежимные» уроки музыки и французского языка, которые Владимир в детстве получил от другого «осколка былого» – Марии Вардановны, якобы грузинской княжны. Отсюда,

из «двойственности» взросления, не исключено, и неумение Доронина олицетворять собой «благонадёжность», и ещё одна беда, о которой скажу чуть дальше. Если моя догадка верна, Антонине Дорониной можно только посочувствовать.

* * *

В архиве Рязанского госуниверситета, бывшего пединститута, есть личное дело Антонины Дорониной, но в нём никаких данных о её сыне. Что резонно: Владимир по стопам матери не пошёл, в Рязанский педагогический институт не стал поступать.

Чего он желал от жизни, какой профессии себя мечтал посвятить?

Тут у моих добровольных информаторов начинаются расхождения. Большинство из них уверены, что Владимир Иванович мечтал о море. Поехал в Ленинград поступать в мореходное училище. Но... его не приняли, как сына «врага народа». Вернувшись в Рязань, он поступил в только что открытый Радиотехнический институт. Через год запрет на учёбу в военных училищах детям «врагов народа» отменили. Однако Владимир Доронин уже не захотел уезжать из Рязани. Тому были глубоко личные причины.

Однако школьный товарищ Владимира Ивановича Валентин Алексеевич Лимаренко заявляет, что этого не могло быть, так как в год окончания школы они встретились на вокзале Рязань-2 – не стовариваясь! – и поехали вместе «штурмовать» московские вузы. Владимир, по словам Лимаренко, мечтал об МГУ, но «срезался», а Лимаренко поступил, но тоже не туда, куда собирался. По словам Валентина Алексеевича, Доронин после первого же экзамена, где получил тройку, вернулся в Рязань, не видя смысла дальше сдавать, и – не без помощи матери, уважаемого человека в институтских кругах Рязани – поступил в Радиоинститут на факультет автоматике и телемеханики. Мореходки, считает Лимаренко, у Доронина и в мыслях не было. Просто он всегда был большим фантазёром...

Вся дальнейшая жизнь Владимира Ивановича описывается его друзьями воистину «как очевидцами» – то есть взаимоисключающе. Точнее, события они рассказывали одни и те же, но подавали их с разных позиций.

В институте вместе с Владимиром Ивановичем, в одной группе, учились одноклассницы Ольги Чекмарёвой Светлана Курносова и Зинаида Розова. Светлана была первой любовью Владимира Ивановича. Ольга Ивановна вспоминала её не иначе как «ангела во плоти». Но, к несчастью, она умерла от болезни в возрасте 18 лет, будучи на 2-м курсе института (об этом поэт и сам напишет в откровенном стихотворении «Терема»). Через несколько лет после смерти Светланы Владимир женился на Зинаиде Розовой, в 1959 году у них родилась дочь Наталья. Ольга Ивановна до сих пор поддерживает с Зинаидой и Натальей дружеские отношения, несмотря на то, что брак Дорониных распался весьма давно. Правда, до этого Доронины несколько лет жили в Подмоскovie и работали в Москве на одном из «ящиков». Зинаиду Ольга

Ивановна достаивает самых похвальных эпитетов, по её мнению, никакой вины супруги в том, что брак распался, нет. Возможно, причина в том, что Владимир Иванович потерял работу в Москве – а уж в чём причина утраты работы, остаётся только гадать. После развода Доронины разменяли большую квартиру в том сталинском центральном доме, Антонина Александровна с сыном переехали на улицу Дзержинского, а Зинаида вскоре доставшееся ей после развода жильё поменяла на Балашиху, где до сих пор и живёт. Ольга Ивановна говорит, что Владимир Иванович сохранил с бывшей семьёй тёплые отношения, часто общался с дочерью, и даже был момент уже в 90-е, когда они его забирали к себе в Балашиху, однако вновь что-то не сложилось...

Валентин Лимаренко практически уверен, что всё, что у Доронина «не сложилось», было лишь оттого, что он довольно рано и довольно сильно оказался причастен «зелёному змию». На эту беду я и намекала выше. К сожалению, все, знавшие Доронина, так или иначе подтверждают эту информацию – правду говорят, что шила в мешке не утаишь. Только оценивают её с противоположных сторон. Ольга Гришина и Татьяна Шиллер, скажем, тепло, с пониманием относясь к этой слабости или болезни. По мнению Ольги Ивановны, Владимир начал выпивать после смерти Светланы Курносовой. Валентин Лимаренко – с осуждением, считая это проявлением эгоизма Доронина, не считавшегося с близкими, уж раз на себя он «махнул рукой». В этом пункте мне вспоминается моя собственная «скандальная» статья «Диагноз: Поэт» (см. журнал «Урал» № 10 за 2009 г.). Мне думается, Владимир Доронин мог бы стать одним из её безымянных, но таких узнаваемых героев...

По окончании института, будучи по образованию инженером, Владимир Доронин работал какое-то время в КБ «Глобус», но и оттуда ушёл. А дальше у него начался калейдоскоп работ не по специальности. С некоторых мест его «просили» из-за той же склонности. Журналистская деятельность, как было сказано выше, прекратилась вместе с браком с Галиной Черновой. Однако вспомним Мандельштама: «Губ шевелящихся отнять вы не могли». Владимир Доронин не мог не писать – даже если никто не «запрашивал» его творения, не собирався их публиковать, не интересовался их прочтением... Очевидно, что от Бога он был литератором. Вспоминается советская шутка, что в нашей стране лучших писателей-сатириков готовит Авиационный институт. Это была особенность советского технического образования – начитанность, широкий кругозор и более структурированное сознание приводило немало «физиков» в стан «лириков». Михаил Жванецкий, Михаил Задорнов, Борис Стругацкий и многие другие «бывшие инженеры» личными примерами подтвердили, на какие литературные высоты способна поднять человека техническая «база». Владимир Доронин прошёл следом за этими корифеями по той же дороге. Их она привела к славе. Доронина сделала оригинальным поэтом и выдающимся критиком (хотя в качестве критика он до обидного мало успел совершить), но не довела до апогея литературной карьеры.

У меня нет собственного знания, насколько способствовало социальной «гибели» Доронина пристрастие к спиртному. Ни в один из тех трёх раз, что я его лицезрела, он не показался мне пьяным. Здесь остаётся полагаться на рассказы очевидцев и друзей (впрочем, недругов тоже, и не один человек высказывал о Доронине лишь то, что был он горьким пьяницей). Но прочтите его разбор моей книжонки стихов – широчайшая эрудиция, внимательность «глаза-алмаза», тонкое чувство гармонии – разве похоже, что эти строки писал деградировавший человек?.. Вместе с тем, увы, мне так часто приходилось встречать удивительную душевную глухоту и слепоту, а также убожество литературного вкуса у якобы «положительных» непьющих персонажей! По мне, менее страшен пьющий интеллигентный человек, чем вечно трезвый и сознательный негодяй.

...В своё время Юрий Любимов захотел принять на работу артиста, покорившего его песнями в собственном исполнении. Когда уже всё было «на мази», Любимову осторожно сказали, что лучше бы не брать того на работу – он человек пьющий. «Подумаешь, невидаль, ещё один на Руси пьющий!» – сказал Любимов. Он был прозорлив. Если бы не Владимир Высоцкий, не состоялось бы на Таганке эпохи «Гамлета»...

Судя по этому эпизоду, талант Любимов ставил выше модуса вивенди человека. О талантах, к сожалению, не так часто можно сказать: «Подумаешь, невидаль!». Но и то правда, что талант часто «уравновешивается» асоциальностью поведения и тягой к саморазрушению.

Увы, конец жизни Владимира Доронина выглядит типичным для человека, «пропившего» всего себя. Ему выпали сплошные испытания, которые тяжело даже перечислять. Он последовательно утратил две квартиры. Сначала, после смерти матери, продал двухкомнатную, выменянную после развода, ради того, чтобы переехать в однокомнатную (за это ему обещали материальную поддержку в течение продолжительного времени, и он согласился, так как не имел никакого дохода). Но сделку должным образом не оформил (там подозревается криминал – увы, обычное дело для 90-х), вскоре был из однокомнатной «попрошен» и остался даже без разбитого корыта... Он скитался по знакомым, жил в одной из мастерских своих приятелей-художников (возле Кремля), ночевал в чьём-то гараже... Наконец, милостью одного знакомого из обздрава, его устроили в дом престарелых в Шиловском районе. В этом же социальном учреждении закончили свои дни и другие рязанские поэты – Анатолий Овчинников, Владимир Филатов...

Да, это судьба, шаг за шагом идущая на самое дно, как он справедливо отметил в своём письме Татьяне Шиллер. Но в этой судьбе, на её, патетически выражаясь, закате, были античная история, Цезарь и Клеопатра, звучные латинские фразы в стихах, которые писались либо в гараже, либо в приюте. Значит, латынь, Древний мир, «коллекция метафор» от мастеров слова, которую он цитировал, анализируя мою книжку – на память. Этот человек

был прекрасным оксюмороном*. Не оттого ли так противоречивы воспоминания о нём?..

* * *

Критическая деятельность Владимира Доронина стоит того, чтобы познакомиться с ней читателя. Голословные утверждения выглядят убого. По отношению к памяти Владимира Ивановича пройти «мимо» его критики, даже во имя того, чтобы сосредоточиться на его поэзии, было бы просто оскорбительно.

Идеальный очерк о писателе надо делать по образу и подобию очерков Доронина. Они лежат передо мной: «Сцены из хроники времён Жени Маркина» («Рязанское узорочье», № 1-2, апрель 2000 г.), «По собственной галактике (Читательские заметки о прозе Аллы Нечаевой)» (собрание сочинений в трёх томах. Том 3. О жизни и творчестве рязанских писателей: Очерки. Статьи. Рецензии. – Рязань: Пресса, 2008. – с. 102 – 108).

Эти «творческие портреты» по концепции разные, хотя служат одной цели – представить писателей-современников во всей полноте изображения (хочется «модерново» сказать «в 3D»). В заголовках Владимир Доронин наметил «жанровую принадлежность» каждого труда.

«Сцены из хроники времён Жени Маркина» я бы назвала образцом «писательского портрета». В этом тексте сплетено всё: эпизоды с участием Евгения Маркина, отсылки к его творчеству, анализ его некоторых стихотворений, картины жизни литературной богемы Рязани 70-х годов и даже всероссийского тогдашнего литературного процесса (потому и «хроника»!). У меня вызывает глубокое восхищение то, в каких оптимальных пропорциях «перемешаны» в одном очерке столь разные сферы, как хроника, бытописание, философия, критический анализ и мемуары. И я ловлю себя сейчас на мысли, что невольно «подстраиваюсь» под то, как вёл речь о своём товарище-сопернике, чьё дарование всегда признавал и высоко ценил, Владимир Доронин. Но, боюсь, в этом очерке мне не удалось подняться до доронинских высот...

«Впервые мнение профессионала о стихах Жени Маркина я услышал в 1961 году в Туле. Поэт Владимир Лазарев – тот, который написал «Берёзы, берёзы, родные берёзы не спят» – был в этом городе необыкновенно популярен... Володя читал не знакомые мне стихи...

– Маркин – серьёзный поэт? – спросил я. Для меня Женя ещё оставался как бы наперёд заданной величиной (студентом «с характером», готовым вступить за товарища, кумиром учениц естфака, «вечно занятым мальчишкой с книжкой»).

– Вот увидишь, – ответил Володя, – его будут читать на площадях... Да ты читаешь ли Маркина?

– Попадается в «Юности».

– Это стыдно, старик! Читай всё, что сумеешь достать».

Не каждый мемуарист, тем более не каждый критик способен признаться,

что сначала «не разглядел» в знакомце мощное литературное явление. Гораздо чаще встречается иное – над чем жестоко иронизирует в этом же очерке Доронин: человек, завидовавший, если не пакостивший, Маркину при жизни, после смерти стал петь ему дифирамбы, начинающиеся с избитой формулы «Большой русский поэт Женя Маркин...».

Но Владимир Доронин не боится никакой откровенности: «препарирует» свои сложные семейные отношения, признаётся в ограниченности своего поэтического кругозора в молодости (упомянутый Владимир Лазарев «открыл глаза» молодому коллеге на существование в мировой культуре Мандельштама, Цветаевой, Гумилёва и прочих запрещённых тогда поэтов) и даже опосредованно говорит, что ему самому не удалось выразить литературными средствами те чувства, какие «игручки» передал в одном грустно-лирическом стихотворении Маркин. «После Жениной смерти я попытался представить себе – что, если этот образ материализуется?.. Получился рассказ (или – скорее – не получился) «Морское сено». Он о женщине, которая... вот взяла да и сбывлась из стихов поэта. ...Её законное место – в стихах поэта, вот там она действительно прекрасна. Рассказ я сжёг...».

Если честно – многие ли авторы способны признать превосходство над собой собрата по перу (тем более – если с этим братом связывают личные непростые, запутанные отношения)? Доронину хватило на это душевных сил. Однако в его «оценках» творчества Маркина не звучит натянутых похвал, выпрєнных и оттого заведомо лживых восторгов – при том, что место на «лестнице» русской поэзии он Евгению Фёдоровичу отводит ближе к вершине.

Из чего это следует? По тексту «хроники» обильно рассыпаны стихотворные цитаты (напоминаю, что пишется очерк во время пребывания в доме престарелых, и это очередной повод восхититься памятью и поэтическим вкусом Доронина) из стихов О. Мандельштама, В. Луговского, В. Хлебникова, Е. Баратынского, А. Решетова, В. Соколова. Строки великих не затмевают Маркина – но «оттеняют» его; по замыслу Доронина, Маркин ведёт с ними переключку, как «звезда с звездой». Но на протяжении половины текста нет ни одной выдержки из стихов его главного героя.

Объяснение? «Я намеренно не цитирую здесь Жениных строк. Может быть, мне удастся это молчание и до конца записок. Затем, чтобы распалить любопытство ещё не читавших Маркина». Относительно отрывка из любовного стихотворения Решетова сказано: «Мне искренне жаль, что только что цитированные – такие маркинские – строки написаны не Женей». Венчает это восхождение по «лестнице поэзии» однозначное утверждение: «Читайте любовную лирику Маркина, я отношу её к высшим достижениям содружества русских поэтов с музой Эрато».

Но и этих – безусловно, ответственных – сравнений Доронину кажется мало, и он сопоставляет рязанского стихотворца с автором, гремевшим тог-

да на всю Россию и значившим для читателей той поры явно больше, чем «классово чуждый» Мандельштам: «Пожалуй, ближе других к авторскому чтению Жени звучал Евтушенко в саду «Эрмитаж» осенью 62-го. И всё же – нет: у Евгения Александровича – намеренно аскетический ритм, актёрские интонации, смысловые, чёрт бы их взял! – акценты, эклектика. А у Жени – ни грамма дешёвки, ни даже «запаха» театральщины... и – ни нотки надрыва, ни жеста барокко. ...Может быть, это и называется ересью простоты?..». Думаю: насколько смелым выглядит и сейчас сравнение «не в пользу» тёзки Маркина – Евгения Евтушенко: ведь литературное сообщество, а паче того широкий круг читателей, к Евгению Александровичу относятся с привычным и заслуженным знаменитым «шестидесятником» пиететом – знаком чего служит признание Евтушенко российской национальной премии «Поэт» в 2013 году.

Правду сказать, к стихам Евгения Маркина лично я отношусь прохладнее, чем Владимир Доронин (и прохладнее, чем к стихам самого Доронина). Доронин, «не утерпев», всё же приводит цитату из стихов Маркина: «В голубой рубашке тесной, / в пиджачке заштопанном – / недозволенно известный, / ни за что растоптанный».

Простите меня, оба, ушедшие в мир иной, но эти строки не кажутся мне вершиной поэтического мастерства! Из любовных стихов Маркина мне больше других нравится «Аэлита» (не та, что положена на музыку Владимиром Мигулей!). А тоже любовный, если не чувственный, «Белый бакен» постигла скандальная репутация «политического стихотворения», посвящения «Исаичу» – Александру Солженицыну, и это совсем другая история...

Зато я отношусь очень тепло к критике Владимира Доронина, а, стало быть, и к его мнению. Мнение Доронина о творчестве Маркина было возвышенным: «...способность пробуждать чужую фантазию – Женин знак, знак хороших стихов. ...Как, однако, надо писать, чтобы стихи несли на себе «знак качества», знак подлинности, настоящести...», – и это уже культурный факт.

Впрочем, в этом очерке Доронин не углубляется в литературоведческий либо текстуальный анализ стихов Маркина, что справедливо – это не критика и даже не совсем литературная публицистика, а, скорее, мемуарная проза, по жанру не предназначенная для исследования стихотворений. Тем ценнее, на мой взгляд, редкие точные замечания критика, искусно вплетённые Дорониным в портрет поэта.

Но, поскольку я объявила, что мой герой обладал недюжинным критическим дарованием, тезис должна аргументировать. В моём «тощем» архиве его трудов хранятся работы литературного публициста – и самого настоящего критика. Прочитую и их.

«По собственной галактике» – с подзаголовком – «Читательские заметки о прозе Аллы Нечаевой» – концептуально вещь совершенно иная, нежели портрет Евгения Маркина. Хотя вообще-то целеполагание книги, в которую оно вошло, выражено фразой «О жизни и творчестве рязанских писателей»,

подразумевает те же самые портреты поэтов. Но в статье «По собственной галактике» Доронин рисует портрет не самой Аллы Нечаевой, а её текста; здесь ничего нет об обстоятельствах жизни писательницы, о степени знакомства её с Дорониным, а о самом Доронине речь лишь как о «приёмнике», настроенном на волну автора: «Я насочинял тут разрядок, каких и в помине нет ни у Паустовского, ни у Нечаевой, потому что боюсь, как бы кто не прозевал существенного – такого, чем любоваться надо, чем я любовался... – да вот хоть этим останавливающим юмором...». Ибо здесь он ощущает себя критиком – а у критика заведомо другая задача.

«Читательские заметки» – скромно называет этот труд Владимир Иванович, якобы без претензий на что-то большее. На самом деле, «большого» выше крыши, но в основе – посыл откровенного высказывания читателя о книге Аллы Нечаевой «В пространстве любви, фантазий и осмысленностей» (Рязань, 1997). Лёгкое доронинское кокетство да не обманет – в этих же заметках встретится безапелляционное утверждение: «Читатель должен быть профессионалом». Владимир Иванович был не только профессиональным, но и очень талантливым читателем. Мастером, а не подмастерьем в деле чтения.

На мой взгляд, в томе «портретов» рязанских писателей очерк Доронина выделяется, потому что он сам оригинален – и об оригинальном прозаике. Все прочие очерки о писателях созданы их коллегами по одному шаблону, заформализованы и заштампованы: биография – творческое становление – библиография – пересказ текстов – похвала человеческим качествам автора, выточенная как по лекалу. Потому все прочие очерки в этой книге пролистываются – а очерк Владимира Доронина читается.

Алла Нечаева – прозаик, я бы сказала, очень психологичный, местами даже психоделический; вектор её прозы направлен всегда не наружу, а внутрь – не на сюжет либо антураж, а в поле переживаний, эмоций, открытий героев, которые выражаются длинными переливчатыми фразами, вроде процитированного Дорониным порыва: «Вдруг жизнь та, необыкновенная, избавленная от копания в земле и грязи под ногтями, что у себя дома, что у сестры, обрушилась на неё непредсказуемостью, и вихрь желаний поднял её, вознес на неохватную высоту и ширь, и понес кружить, принимая и изничтожая в полёте, потому что наверху было ветрено».

Повести Аллы Нечаевой так порадовали читателя Доронина, что он решительно поставил их ни много ни мало – на одну доску с «Золотой розой» Паустовского: «Так уж случилось, что две под одной обложкой повести Аллы Нечаевой я прочитал в те же дни, что и знаменитую «Золотую розу» К.Г. Паустовского. ...Я процитирую сперва классика:

«Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости».

Тайна сия велика есть, но Паустовский проделывает такое со всяким, кому доводилось читать его книги... Спрашивается: а я мог бы заметить эдакое

без него? – ведь, наверное, рядом бродил и видел, да не почувствовал, пока слово не было сказано... Я, честное слово, не ставил какого-то «опыта», мне и в голову не приходило устраивать «гонку» между стилистами разных эпох (напротив, далее он уверяет, что повести Аллы Нечаевой совсем не похожи на повести Паустовского по их «техническому инструментарию» – он почти не пользуется метафорой, она метафорична сплошь, он пишет краткими «прозрачными» фразами, она – сложносоставными, и пр. – Е.С.). Скорее всего, мне просто хотелось пообзаваться подольше «в пространстве любви, фантазий и осмысленностей» – Паустовский ведь тоже там». Сложную, вместе с тем поэтичную формулировку – название книги Нечаевой – Доронин позиционирует как «поприще целого класса литературы – русской лирической прозы». И приходит сам, приводя и своего читателя буквально за ручку, к выводу, что «Нечаева в фантазиях своих героинь путешествует по собственной галактике». Этот вывод суть точка в споре с неким воображаемым оппонентом, требующим от прозы Нечаевой, как и от всей литературы, «писать для народа», «просвещения», а то и «воспитания» – «как надо», «как правильно»; тогда как эта проза служит попыткой понять своих героев, а через них – и автора. То есть лирические повести Нечаевой Доронин рассматривает как своего рода писательскую исповедь – и в этом усматривает основную параллель «В пространстве любви...» с «Золотой розой», книгой о писательском труде.

«Читательские заметки», сделанные в форме эссе, не совсем критика, но дышат критической мыслью – Доронин «сроднился» с прозой своего «фигуранта», перешёл на его язык и создал своего рода ментальный диалог с письмом Аллы Нечаевой.

Что касается сугубо критической работы Владимира Доронина, то, увы, хоть это и нескромно, однако в моём распоряжении только его отзыв на мою книжку «Хочу любить». Хотя Владимир Иванович сомневался в жанровой принадлежности этого послания: «...что (с рукописным ударением на это слово. – Е.С.) я пишу сейчас? – отзыв о Вашей книжке? Так ведь Валера уже все сказал в толковом своем (и – праздничном!) предисловии (имеется в виду Валерий Авдеев (1948–2003), рязанский поэт, автор вступительного слова к сборнику «Хочу любить». – Е.С.). Есть ли необходимость теперь расставлять комплименты в другой последовательности? Выдумывать же «Письмо к ученому соседу» мне и вовсе не хочется. Договоримся так: я поделюсь впечатлениями от Ваших стихов (их не одно), покажу, что «заметил», поспорим немножечко, а?..». И всё-таки по сути – это самый настоящий критический разбор в обоих смыслах слова «критический».

Полностью разбор книги «Хочу любить» читайте в приложениях к этой книге.

Доронин деликатно начал критику с поощрения, которое характеризует его с удивительной стороны: «Несмотря на печальную сущность стихов, от них ко мне катит радость. Вы, может быть, поймете меня сейчас. Я однажды захохотал, слушая вторую часть печальной шопеновской сонаты Си-минор.

Это было в концертном зале Дома ученых, я вдруг почувствовал пастернаковское чудо:

*Шопена траурная фраза
Вплывает, как больной орел...».*

И дальше:

«Я собирал когда-то коллекцию знаменитых метафор, просто – чтоб любоваться. От Маяковского, Манделштама, Олеси, Булгакова, Пильняка, Пастернака, Светлова, Катаева, Ильфа с Петровым, Набокова. Саня Архипов там тоже наличествует. Дополню теперь и Вашими, *pourquoi pas?*».

Очень надеюсь, что читатель этой книги не отнесётся к приложениям с пренебрежением. Мне сегодня доставляет удовольствие перечитывание не своих юношеских стихов, а их критики в доронинском исполнении. Наверное, схожий восторг он испытывал от слушания Шопена в исполнении Софроницкого...

В этой критической работе Владимир Иванович остаётся верным себе – не умеет удерживаться в рамках одного и того же стиля изложения: переходит от анализа текстов к анализу движений собственной души. Потому велик соблазн сказать, что его отзыв синтезирует многие писчие жанры. Как минимум, переводит рецензию в эссе: «Мое впечатление сразу же после прочтения книги – она ошеломляет, первое ощущение – тревога. Первое движение души – надо же что-то немедленно делать: помчаться куда-то, кого-то успеть спасти ... Если бы я конструировал мир, я бы сперва сотворил тех, кто способен спасать, чтобы спасать тех, кто способен творить».

Увы! Самого Владимира Доронина, способного и желавшего творить, никто не спас; как величайшее благо бытия, должно быть, являлось ему то, что ему писать – до смертного часа. Нимало в этом не сомневаюсь – не мешали. Уж тут не до помощи...

* * *

Поэзия Владимира Доронина, безусловно, заслуживает введения в литературный оборот и профессионального рассмотрения. Моё не подходит по двум причинам: 1) Я критик, но не литературовед, и у меня нет специальных знаний для филологического анализа этого художественного явления, всё, что могу – обозначить его, не дать пропасть в забвении; 2) Я могу быть пристрастной. Но эта книга – первая его масштабная публикация, к тому же региональная, и до всероссийского признания, до внедрения её в литературный процесс ещё очень далеко. Хватит ли на это лишь моих сил? Найду ли я в текущем литпроцессе единомышленников, которые поддержат меня в популяризации творчества Доронина – как поэт Андрей Коровин нашёл единомышленников в популяризации творчества достойных российских стихотворцев Валерия Прокошина и Сергея Белозёрова?

Обстоятельства меня «загнали в угол», из которого только один выход: пи-

сать об этом незаурядном авторе, чтобы вызвать интерес литературной общности к его персоне, и помнить, что глаза боятся – руки делают. Несколько раз я уже «поставила телегу впереди лошади» – выпустила вперёд книги несколько статей о творчестве Владимира Доронина.

«Загнанный в угол» – эта формулировка мистически и страшно сопутствовала всей жизни Доронина, и по сравнению с тем, что ему пришлось пережить, с теми безальтернативными ситуациями, в которые попадал он, «инверсия» появления «портрета поэта» прежде его публикаций – просто ирония судьбы.

Позволю себе небольшое, но важное тематическое отступление. Прижизненные, да и посмертные публикации стихов Доронина в Рязани могли не состояться по ряду причин. «Табу» на них могла наложить не только чья-то индивидуальная воля – но и рецепционная установка, царящий в Рязани взгляд на «хорошую поэзию». К сожалению, о поэте, достигшем только региональной известности, критику приходится говорить в рамках культурного контекста данного региона. И для Владимира Доронина не удастся сделать исключения: он жил и писал в Рязани, потому к нему формально применимо определение «рязанский поэт» – хотя лично я считаю эту формулировку несостоятельной, ибо поэзия, литература вообще, не может быть «энской». Однако в Рязани чрезвычайно живуч миф о существовании «рязанской литературы» и даже самостоятельной «рязанской поэтической школы».

Судя по теоретической базе рязанской поэтической школы – её десяти признакам, выдвинутым литературоведом Ольгой Ефимовной Вороновой – ни один из них не определяет какой-либо «самобытности», отличия рязанской «традиционной», «народной» поэзии от традиционной поэзии «деревенщиков», рождающейся в других регионах. Зато все вместе они дают совершенно чёткое представление о том, что рязанская «деревенская» лирика полностью принадлежит гигантской «школе» почвенничества. Ей, как справедливо отмечает Воронова, свойственны «почвенническое» начало как осознание неделимости судьбы русского человека от судеб большой и малой родины; опора на традиции русской реалистической поэзии и есенинско-рубцовское поэтическое наследие; нерасторжимая связь с миром родной природы; «родовое сознание», гордость крестьянскими потомственными корнями; а особенно – устойчивый круг тем и мотивов (замкнутый на деревне, пейзаже, своей «русскости» и чуждой «враждебности»). Этой поэтике присуща стилистика, которую Ольга Воронова называет «критерием народности в духе и языке стиха» – «прозрачность, простота, ясность поэтической формы».

Сергей Есенин априори является духовным родоначальником и «покровителем» рязанских поэтов, по нему до сих пор «сверяют часы» поэтических тенденций, действующих в Рязани. Так, Валентин Сорокин пишет в своей статье «Звенят голоса над Окою» (журнал «Молоко», 2008 год): «Александр Потапов, Валерий Валиулин — талантливые поэты. Их стихи рождены голосом ливней и

берез, светом серебристой Оки и распахнутым сердцем бессмертного Сергея Есенина».

Подобных апелляций и почти инстинктивных отождествлений всякого литератора из Рязани с Есениным (в положительном либо хулительном смысле) можно встретить в литературной периодике много. Другое дело – что считать их серьезным признанием «рязанской поэтической школы» трудно. К тому же, мне кажется, здесь кроется концептуальная ошибка: всё же Есенин был по стилю имажинистом, а не «почвенником», но его работа с образами была продолжена в рязанской поэзии разве что Александром Архиповым (1939–2002). К «почвенникам-реалистам» принадлежали другие литературные величины: Евгений Маркин, Анатолий Сенин (1941–2000), Валерий Авдеев (1948–2003). Черты стихосложения, процветающего в регионе с середины XX века, сложились при активном участии этих авторов: это преимущественно сюжетные стихотворения традиционных форм, классических размеров, с четкими рифмами и тематикой, тяготеющей к сельской жизни и пейзажной лирике. Интимно-лирические переживания, житейские раздумья и попытки философии, гражданский пафос и прогностические ожидания чаще «дислоцированы» на фоне окских просторов и густо переплетены фольклорными мотивами, народными преданиями и народной же героикой.

Думаю, что история рязанской поэзии несколько сложнее «схемы». Не раз приходилось слышать воспоминания старших товарищей по перу, что рождались в Рязани и другие стихи, проникнутые, скажем, модерновыми исканиями шестидесятничества. Но их авторам, как правило, делали отеческие внушения, чтобы писали «как все»... И я сама уже в 80-е «проходила» доброжелательные уроки Анатолия Сенина, в целом довольного моим творчеством: отказаться от «книжной» поэзии, от тем, выходящих за рамки реалистической картины мира, и будешь писать не просто хорошо, а отлично!..

Сейчас литературная карта Рязани гораздо более пестра, в ней возникают целые островки интеллектуальной и авангардистской поэзии, представленной более молодыми и пытливыми авторами, а деятели, ментально принадлежащие к «рязанской поэтической школе», всё более проигрывают на фоне талантливой молодёжи. Пользуются ли они популярностью среди российских читателей поэзии? Трудно сказать, но ведь объективно известность «рязанских классиков» достаточно локальна – их тексты практически отсутствуют в Интернете, за исключением, опять же, стихов Евгения Маркина.

Вот на этом фоне творил Владимир Иванович Доронин, представитель «уходящей природы», человек потрясающей начитанности и образованности.

Сопоставление стихов Доронина и адептов «рязанской поэтической школы» выглядит не то кошунственным, не то нелепым – однако это данность, от которой невозможно отмахнуться. Наверное, в другом краю он бы не был такой явственной «белой вороной» – а ведь именно это положение определило горькую судьбу поэтического наследия Доронина. Его поэзия настолько «не ря-

занская», что, ей-Богу, есть соблазн увидеть в этом также некую нарочитость, осознанный «заплыв против течения». Боюсь, что такая манера поведения и творческий имидж во все времена «караются» – может быть, сознательным замалчиванием, а может быть, и хуже, какими-либо идеологическими репрессиями. Мне неизвестно, имело ли место в судьбе Доронина это «хуже». Но то, что он был надолго вычеркнут из списка рязанских литераторов, не подлежит сомнению. В обновлённом альманахе «Литературная Рязань» действовала рубрика «Литературное наследие» – специально для публикаций ушедших в мир иной писателей и поэтов. Но в ней так и не появилось ни стихов, ни эссе Доронина...

* * *

Книга «Эпилоги» состоит из четырёх циклов: собственно «Эпилоги», «Стихи без поэта», «Tout a' toi» (полагаю, имелось в виду самоотверженное «Всё для тебя» либо «Всё про тебя»), «Ремесло» и «Без определённого места жительства». Всего семьдесят стихотворений, выстраивающихся в стройную картину.

Лейтмотив неопубликованной книги – последнего дела жизни Владимира Доронина – и есть подведение жизненных итогов. Все стихотворения в этой книге потому плотно связаны с реальностью – с той реальностью, в которой он пребывал, работая над книгой. Отсюда и откровенное название цикла из всего двух, но длинных стихотворений «Без определённого места жительства» (видимо, он «заменял» Доронину запланированные автобиографические повести).

Отчётливое авторское начало пронизывает и несколько театральный цикл «Эпилоги». Сценической «трагедийности» придают ему апелляции к шекспировскому наследию («По прочтении трагедий»), к персоне балерины М.Н. Краевской, матери Г.П. Черновой, некогда выступавшей в Мариинском театре («В театре»), и «просто» к старому, как мир, уподоблению жизни – сцене («Наша пьеса кончается. Занавес»).

Впрочем, названию вопреки, цикл объединяет вовсе не одни «итоговые» строки, но и обращения в детство, например, пространные белые стихи «Терема» – переключка с подружкой юности, «вписанная» в атмосферу древнерусской сказки.

Предсказанное «девочкой», героиней этого стихотворения, одиночество проглядывает «между строк» давно уже не юного Доронина вместе с постоянным ощущением отчуждённости, непонятости, общественного осуждения, что видно по стихотворениям «Сонет», «Путник» (с эпиграфом в виде английской фразы «Alone traveller» – «Одинокий странник»; так называется пьеса Эдварда Грига).

Главный признак авторского стиля Владимира Доронина в его лирике – тот же, что главная характеристика самого Владимира Доронина: сочетание несочетаемого. С одной стороны, Доронину исключительно присуща автобиографичность, конкретность, в том числе в именах, фамилиях, персонажах.

Татьяна Шиллер, владелица рукописи, поясняла мне кое-какие строки Доронина с точки зрения фактографии:

– «мне нужен старый ведомственный дом» – о доме на улице Либкнехта, где жил будущий поэт в юности, с матерью;

– поэтический очерк «Мужская школа» посвящён школе № 2 города Рязани, где учился Доронин; все имена преподавателей и товарищей в этом стихотворении – непридуманные; по такому же принципу – точные зарисовки из детства – поставлены в книгу маленькая поэма «Милое детство» (с названием, аналогичным названию поэмы Иосифа Уткина, которому уделяется в поэме много тёплых слов), «Мы» (с ретроспективной датировкой «1940 год»);

– Polaci * (со сноской «* название украдено у О.Э. Мандельштама») – полностью списано с натуры: бойцы Войска Польского, формировавшегося в Рязани в годы Великой Отечественной войны, ухаживали за русскими девушками, а однажды устроили шуточное сражение с русскими на ипподроме (впоследствии переделанном в стадион), чему был свидетелем восьмилетний Володя Доронин.

– «Вон справа от меня палит Верцынский, / так тот за Эвариста Гадуа» – Валерий Верцынский, коллега Доронина по НПО «Глобус» и его хороший друг. Кстати, чтобы больше не возвращаться к теме личных имён в стихах Доронина: большинство из них принадлежат реальным лицам, так или иначе связанным с поэтом. «Оленьку Чекмарёву» я здесь уже не раз упомянула, как и Евгения Маркина. Марию Вардановну – тоже. Сергей Мартынов – пианист мирового класса, почему-то не сумевший ни разу поехать с гастролями за рубеж, но неоднократно концертировавший в Рязани и много сделавший для того, чтобы в городе был открыт зал камерной музыки. Правилу называть подлинные имена Доронин изменял только тогда, когда речь заходила о женщинах; он придумывал своим возлюбленным и Прекрасным Дамам имена романтические. Наверное, здесь было поровну рыцарственной защиты тайны личных отношений и «одухотворения» земной женщины, возведения её на пьедестал литературной героини...

– стихотворение «28-е июля» написано по следам командировки Доронина в 1967 году в Саратовскую область, город Балашов, где он столкнулся в гостинице с огромным количеством людей «при погонах»: в городе появился маньяк, отстреливавший молодёжь, и на его поимку были брошены «чекисты», как называет их поэт. Пойманный душегуб оказался, говорят, учителем физкультуры, создавшим небольшую мобильную банду подростков, которых учил палить по живым мишеням... Вся эта трагедия вошла в стихотворение в неожиданном ракурсе – «охота на диких зверей», «мужское дело», при всей своей «полезности», не превращает героя-рассказчика, он более благороден:

– *А как насчёт фехтования?* –

тоже мужское дело.

– *Я дуэлянт, гидальго!..*

И так далее.

Конечно, на основании такой тяги к подробностям и автобиографичности читатель вправе сделать вывод, что Владимир Доронин ничем не отличался от других поэтов-«реалистов», лишённых фантазии. Но это будет ошибкой! Художественная реальность стихов Доронина, при всей её достоверности, – это реальность хорошо написанной книги. Его выводит из когорты «реалистов», прежде всего, вторая характерная авторская черта: поэтизация совершенно бытовых явлений и фигур. Стихи (и иные литературные произведения), прочно стоящие на рефлексии автора, я называю «конструированием художественной реальности первого уровня» – за их реалистичное основание и малое содержание «фантазии». Однако реалистичность доронинских стихов полностью, на мой взгляд, искупается «антуражем», присущим только его поэтике. Это фразы на иностранных языках, с лёгкостью вписанные в самые элементарные контексты; это одновременное пребывание мыслью в нескольких исторических эпохах и разных мирах – материальном, памятном, фантазийном, книжном; это «ожившая» мифология, реальная для поэта больше, чем гараж, в котором он вынужден ночевать, и даже больше, чем сибирский чердак детства, где он запоем глотал стихи Иосифа Уткина.

Наконец, уникальным я бы назвала мировоззрение Доронина. Он явственный романтик в изначальном, байроническом, жуковском, шиллеровском, ранне-пушкинском духе: всё время ощущает себя (и экстраполирует это ощущение на своего лирического героя) одиноким в толпе и «приговорённым» к дуэли – сражению за свою честь, жизнь, право на самоопределение, наконец.

Очень характерно в этом отношении стихотворение, из которого взяты строки о Верцинском – «Берём обыкновенный пистолет / И целимся, благословляя порох». На мой взгляд, оно одно из ключевых в наследии Владимира Доронина. Оно выражает основу его природы: всегдашнюю, хоть и нелепую, в нашем-то мире в наше-то время, готовность «к дуэли» за высокую идею. Метафора дуэли пронизывает творчество Доронина. Но есть и стихотворение «Я сослан», первое в цикле «Tout a' toi», целиком построенное на отчаянном и бессмысленном героизме последнего романтика – и вместе с тем на откровенном признании в неудавшейся попытке самоубийства («...хоть новых кровей не пуцу»).

Это – «фирменный стиль» (хотя и плоско такое гламурно-дизайнерское сравнение) Владимира Доронина: говоря якобы о частностях, говорить о целом миропорядке, о предназначении и самосознании человека. Что может быть глобальнее мирового нравственного закона и его «прочтений» – «молодою беспечностью» либо «злой решимостью»?.. О, нет, этот человек не сломлен тем, что с ним происходило – и тем паче не сломлен его разум, как будто «запитанный» (наверное, инженер Доронин оценил бы это сравнение! А может, посмеялся бы в душе, деликатно указывая мне на нелепицу) прямиком на ноосферу**!

Оттуда, из ментальной сокровищницы, созданной человечеством за все

века его существования, берутся ни на кого не похожие стихи Доронина.

Впрочем, безапелляционное «ни на кого не похожие», нуждается в оговорке. Если стихотворец не походил на среднестатистический образ «рязанского поэта», это не значит, что у его творчества нет «архетипов» или «прототипов текста».

Его ближайшим окружением были Луи Арагон, Чеслав Милош, Юрий Олеша; судя по книге стихов, своими соратниками он считает Осипа Мандельштама, Иосифа Уткина, Виктора Шкловского и даже Маргариту Наваррскую с её «Гептамероном» (ей адресована восхитительная строка «Тиха Варфоломеевская ночь»). Следовательно, в кругу поэтов мирового значения и стоит искать параллели с творчеством Владимира Доронина.

Идейно-художественным предшественником поэтики Владимира Доронина представляется мне поэзия Арсения Тарковского: их духовное и ментальное родство очевидно.

В новой книге поэта Кирилла Ковальджи «Моя мозаика» (М., Academia, 2013) есть очерк об Арсении Тарковском «Загореться посмертно, как слово...». В этой обстоятельной и благоговейной по отношению к памяти Арсения Александровича работе Кирилл Ковальджи прямо называет его наследником поэтических традиций Золотого века русской поэзии, нашедшим «эстетическую и нравственную опору в русской классике». Это прослеживается и в том, что техника стихосложения Тарковского «чрезвычайно взыскательна» к рифмам и столь же ответственна к строфике – и, главное, в том, что поэзия Тарковского «вневременна». «Его стихи, за редким исключением, не зависят от даты написания. Как не нуждались в датах Тютчев и Фет, чьё творчество тоже не оглядывалось на часы или на календарь». Все эти качества представлены и в поэзии Владимира Доронина – ибо, при кажущейся «привязке» его стихов к датам, точкам на карте, улицам и домам, людям и событиям, эмоциям и надеждам, в них всегда присутствует вневременное начало. Чтобы охарактеризовать это начало, опять прибегну к строкам Кирилла Ковальджи: «Тарковский неоднократно подчёркивал, что поэзия есть искусство чувства, поверенного разумом, искусство мысли, поверенной чувством... По Тарковскому, человек центроположен, он «центральная фигура пространства и времени», вот почему поэт считает «несправедливым взгляд на человека как на ничтожную песчинку в мироздании».

Эту последнюю фразу, цитату в цитате, я бы применила к творчеству и творческой позиции Владимира Доронина. Восхищения достойно, как этот человек, в плане социального статуса оказавшийся «на дне», в своих стихах воспаряет на вершины духа – не мирится с оценкой человека как «ничтожной песчинки в мироздании».

С какой божественной дерзостью Владимир Доронин в стихотворении «Родословная художника» из цикла «Ремесло» обращается к другу, художнику Владимиру Семину:***

...Не в этом ли и тайна Ремесла?
 Гордись!
 Тебе завещано веками
 На плоскости рабочего стола
 одушевлять и дерево, и камень.
 Иль под уздцы вести колокола,
 Бегущие вослед меж облаками.

Елена САФРОНОВА

* Оксюморон – сочетание несочетаемого.

** Ноосфера – согласно учению В.И. Вернадского, «мыслящая» оболочка Земли.

*** В окружении Владимира Доронина было два человека по имени Владимир Сёмин. Один – ныне здравствующий поэт, член Союза писателей России. Другой – художник-график, которого уже нет в живых. Между собой оба Владимира Сёмина состояли в дальнем родстве. Сказать сегодня с полной уверенностью, кому из них посвятил строки из цикла «Ремесло» Доронин, невозможно. Поэт Владимир Сёмин рассказал мне о посиделках с двумя братьями: Дорониным и Валерием Кудряшовым (тоже ушедшим из жизни) в некоем странном помещении в полуподвале жилого дома в центре города, близ Театральной площади, от которого у рассказчика остались воспоминания о ступенях вниз и книгах, сложенных на полочках. Они разговаривали о Гийоме Аполлинере, а затем два Владимира обменялись шуточными стихотворениями:

Владимир Сёмин:

Вот здесь поэт прилип как лист,
 Обидно, что он журналист.
 Доронин сделал по шоссе
 Ягуарное эссе.
 Эссе? Какое там эссе,
 Когда он мчится по шоссе,
 Уткнулся в книгу и читает
 И никого не замечает.

Владимир Доронин:

Володя Сёмин, ты поэт.
 Тебе эссе пока что нет.
 Я напишу, судьбой доволен,
 И подпишусь при том: Доронин.

На листочке с этим посвящением стоит дата: «1981 год». В точности датировки Владимир Сёмин не уверен, но это было точно после смерти Евгения Маркина (т.е. после 1979 года).

Э П И Л О Г И

17-е НОЯБРЯ

Берём обыкновенный пистолет
и целимся, благословляя порох,
(пока что, разумеется, на сборах)
в пока непробиваемый жилет.
Мне только бы его не пожалеть,
мне б только не спасти его от пули.
– Вы, лейтенант,

маленечко прилгнули:
по-моему, на нём жилета нет.
Барон де Геккерен ему брони
доставить не успел. Уж не взыщите –
он против вас почти что беззащитен.
Стрелять в такого – боже сохрани!
Давайте-ка отложим выстрел ваш.
И что за цель! –

весьма образчик старый.
Вот видите – у вас в руке «Макаров»,
а у него по-прежнему «лепаж»!..
– Мы переносим выстрелы на век
иль в новый век перемещаем злобу?
– Ах, всё равно! Пока вертится глобус,
ещё отмищённым не был человек.
Один ли Пушкин?..

– Браво, голова!
Я, кажется, вообще за всех лицейских.
Вон справа от меня палит Верцинский,
так тот за Эвариста Галуа.
– А тот? Цела мишень, в крови стена,
все у него уходят пули влево..
Он что, за прапорщика Гумилева?
– За лейтенанта Шмидта, лейтенант!
За всех, кем недописана строка,
кто проиграл неравное сражение..
– Вы за кого?
– За Маркина.
– За Женю?
Он, слава богу, жив ещё пока.

СОНЕТ

Вячеславу Петрову

И было нам не до идей да идиллий,
и вряд ли искали, где легче,
когда мы из грузчиков переходили
в разряд городских сумасшедших.
Не ведали зим, не заметили вёсен
и сами
из стали не стали.
Мы стали другими
под грузом ремёсел,
но тягловой силой остались.
По ходу сюжета, по действию драмы
угрюмы,
упрямы,
упруги.
И вот вам наш ключ, кавалеры и дамы:
– Кто с нами? Кому по дороге?
Но, сир,
мы зависим от милостей Фамы.
А это удел лишь немногих.

ТЕРЕМА

Живёт моя отрада...

«...Ты чуть не задавил меня
под аркой,
ворвался на чужом велосипеде,
и если б не шархнул об угол,
мне ни за что тогда не уцелеть».
Да, чёрт возьми!
рассыпался подшипник!
Велосипед Картинкина (быть бане!).
Вдруг девочка сменила
гнев на милость:
– Давай посмотрим лучше терема.
Когда-то в нашем городе живали

строители – сплошь
 Постники да Бармы –
 напились мёду,
 начитались сказок
 и сказочные возвели дома:
 лабазы, храмы, избы, колокольни,
 монастыри, часовни да палаты.
 Что к нашему столетию осталось,
 мы с девочкой назвали «терема».
 Бояре, ямищики, офени, воры,
 монахи, гончары, купцы да стража,
 богатыри, подьячие да бабы –
 все жили в украшениях одних
 (по крайней мере –
 так нам с ней хотелось).
 Но против дома нашего
 был терем –
 вот там, уж точно,
 жил да веселился
 какой-то древний
 православный царь
 (ну – вроде Берендея иль Салтана).
 Не окна, а иконы,
 не наличник – убор!
 А под застрехою светлица,
 и кружевное дерево кругом.
 Нечаянно мы сочинили сказку.
 Таковую – без обиды и без мести,
 таковую – без конца и без начала...
 Но тут пора звучать её письму:
 «Друз друга мы заметили так рано!
 Ну что нам было? Может –
 по двенадцать.
 Но если есть такая пытка –
 дружбой,
 то ты – палач. Ты будешь одинок.
 Вот помнишь?
 Наводнение в подвале,
 и мы с тобой спасаем чьи-то книги...
 Меня вдруг облепило
 мокрым платьем.

Как ты орал!
 – Катись отсюда! Вон!
 Я даже плакала: «ещё не вырос!
 Какой дурак! Какой дурак, о боже!
 Как прочно он застрял
 в нелепом детстве!
 Как долго, трудно
 мне придётся ждать!..».
 Ты повзрослел на удивленье быстро.
 Вдруг появились злые увлеченья:
 Шекспир, вино, футбол,
 морская служба,
 а после – институт, чужая смерть.
 (Ты пережить её один – не вынес.
 Та девушка была на вашем курсе,
 в неё ты даже не успел влюбиться,
 но как фальшиво гордо горевал!).
 Была я счастлива?
 Была однажды,
 когда ты носом
 в мой халат уткнулся.
 – Чем это пахнет?
 – Это запах пудры?..
 – Так пахнет пудра?..
 Значит – ты ничей.
 Ничей ещё! Пока ещё не вырос.
 А я тебя всё детство торопила!..
 Ждала мужчину –
 дождалась мальчишку,
 и счастлива!
 Ну разве не смешно?..
 А дальше – что живёт она богато,
 что никогда не изменяет мужу,
 что выучила наизусть Шекспира...
 И хоть словечко бы про терема!
 А я, как поселил её в светлице,
 так до сих пор и думаю, что время
 ни надо мною,
 ни над ней не властно.
 И кружевное дерево кругом...

Я хочу теперь очень-очень,
 чтоб ты вновь
 стала маленькой, дочка,
 чтоб я ставил тебе горчичники,
 чтоб свистали твои мальчишки,
 чтоб читали мы их записки,
 чтоб чихали мы на английский,
 чтоб меж нами не было вакуума.
 И ещё –
 чтобы мама не плакала.

ПУТНИК

Alone traveller.
 Э. Григ.

Природа единичного не терпит:
 есть лес и лес,
 табун и табуны.
 Нет уникальных лавров
 или терний,
 иль даже звёзд
 любой величины.
 Взаимозаменяемы пространства,
 клин выгоняют клином,
 скорбь – вином.
 И старомодной тяги
 к постоянству
 ни в ком не обозначено давно.
 Привязанности запросто линяют.
 И вот
 у полумира на виду
 мы лес на лес
 стремительно меняем,
 и хлеб на хлеб,
 и на звезду – звезду.
 Но странный путник
 на лесном просёлке
 всё тщится
 подобрать для смутных нужд
 любовей разлетевшихся осколки
 и дребезги давно не нужных дружб.
 И мы ему вдогонку: – *Harrry jounpeu!*

А мысленно:

– *Кустарь, старьёвщик, жмот!*
 Надеется, небось, на возрожденье,
 да сил не хватит даже на ремонт.
 О чём хлопочет он?
 С какой бы стати
 себе же укорачивает век?
 Писатель, может?
 Может, и писатель.
 Ну жаль его – пропащий человек.
 Какая блажь – собрать осколки эти
 и, разделив на «прежде» и «теперь»,
 угадывать в их
 преломлённом свете
 год Счастья,
 год Надежды,
 год Потерь!
 И вдруг понять,
 что не владеешь магией.
 И год – от января до января –
 отдать на сохранение бумаге,
 поскольку рукописи не горят.

ПО ПРОЧТЕНИИ ТРАГЕДИЙ

О, если б от Судьбы влетело
 мне в средние века родиться –
 я ревновал бы, как Отелло,
 я б кровожаден был, как Шейлок,
 и неподкупен, как милиция.

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ

Пить молоко
 божественной волчицы,
 припав к её обильному соску?
 Иль жить в долгах
 и век не разориться
 при пених арфисток-потаскух?

Оставить руки с головой в темнице?
 Загнать Месопотамию в тоску?

*Иль возвратиться
в львиной колеснице
и умереть, летя на всём скаку?*

*Меня б туда на визе эмигранта –
уж я б чудней, чем римлянин, чудил.
Хоть за душой ни драхмы,
ни таланта,
и всё равно – что люмпен, что эдил,
не дай мне бог военного таланта:
как бы Лютецию не осадил.*

В ТЕАТРЕ

М.Н. Краевской

*Зал сер. И занавесь сера.
И всё на свете серо.
Клевреты с ночи до утра
пытают Бонасьера.
По замку тряпочную мышь
в пыли софитов тащат.
Со страху tout entier Paris
вот-вот сыграет в ящик.
Вы мне сцепляетесь в рукав,
я – в подлокотник кресла.
– Марь Николавна! Что не так?
– Всё так! А вам известно? –
Мышь на с т о я щ а я!
– М.Н.!*

*Вы сорок лет на сцене!
– Не сорок лет, а сорок сцен.
И опыт мой бесценен!
В искусстве ночь средь бела дня
и та взаправду! Рада,
что этому учил меня
покойный император.
– ???*

*Представьте – цуг, кабриолет
и кони в пелеринке.
Не помню уж, какой балет
давали в Маршинке.
Не помню, танец был каков
(сопровожденье арфы).*

*Мы, дети, испокон веков
во всех балетах – эльфы.
Представьте зал! – «князьё», «графьё»...
– Алиса?
– Без Алисы...
Ну, я отпрыгала своё,
и встретились в кулисе.
Ах, золотая мишура!
Я думала – стеклярус,
и я потрогала царя,
как в вас теперь вцепляюсь.
– И как он вытерпел? – Avec
plaisure, не разозлился.
И с той поры я весь свой век
ищу царей в кулисах.
Уж я не эльф. Уже скорблю,
что настигает старость...
Но вот мышей я не терплю.
Пойдёмте прочь!
Устала.*

МАРГАРИТА И МАСТЕР

Танечке Шиллер

*Сперва существовало слово «муза»,
потом добавилось ещё и «ведьма».
Когда они в одно соединились,
то появилась просто Маргарита.
Для Гёте она, может быть, и муза,
а для Булгакова – скорее ведьма.
Для прочих всех не ведьма и не муза,
ну скажем – свадебная смесь растений.*

*Но выяснилось, что она спасатель,
и более того –
она спаситель.
И более того –
она не знает,
кого бы хорошенечко спасти.
Сперва она спасала тех и этих,
потом одних лишь тех,
потом лишь этих,*

а уж дойдёт ли очередь до прочих,
пока что не известно ей самой.

И вот один из прочих –
скажем, Мастер.
Не гений, не дурак, а, скажем, Мастер
(она ему присвоит это имя
и выяснится, что оно законно).
Не ведают ни Гёте, ни Булгаков,
пройдёт ли он какие-то вершины:
и не закончены стихи (пока что),
и лишь намечился роман в романе.
Но если для кого-то всё же «гений»,
и так же часто в «дураках» он ходит,
то значит – Иешуа и Мефистофель
шлют вестовых по Мастерovu душу.
Кто раньше прибежит,

покажет время.

А время нам покажет, очевидно,
кому придёт на помощь Маргарита –
за ангелов она иль за чертей.

А знаете – ведь это так не важно,
кому придёт на помощь Маргарита:
придёт – закончится стихотворенье,
а не придёт – ну, значит, не судьба.
Хоть Музой она явится, хоть ведьмой,
пусть даже –

смесью свадебных растений!

Но лишь бы помнила –
Она с п а с а т е л ь!..
Тогда закончится роман в романе.

АНГЛИЙСКОЕ НАЧАЛО

Дочери Наташе

Wednesday!
Look at the South – East –
who is this quite
Deterioration old man? How hi is dirty!
You are right, you recognize him.
But hi now write

The poem for his girl,
for his married daughter.

For you! O, yes. Be certain sure –
he is me.

I never died, alive. Always and all ways.

Ещё неведомое за дверьми,
ещё стакан пылает, ядом полнясь.

Да это и не яд. С ним не до сна.
С ним не до полудрёмы, не до лени...

Пью за тебя, замужняя весна –
отросток зимних

нежноцветных фрейлин.

Прочтёшь – не хнычь!

А я уж тем доволен,
Что жив. Что только нищ,
что только болен.

Наша пьеса кончается. Занавес.
Перерыв от шести до восьми.
Ты сыграй её, девочка, заново,
да партнёра попроще возьми.
Эту драму я, кажется, выносил
и концовкой тебя удивил.
Чей же, право, кощунственный вымысел
Превращает её в водевиль?

Памяти Е.М.

Помру –
кому достанутся стихи?
Иль без меня

так сразу и померкнут?

И кто средь прочей равной чепухи
возьмётся мерить их

отдельной меркой?

Кто их засунет в пыльный чемодан
иль просто так – без чемодана –

выбросит?

Иль явится какой-нибудь чудак,
чтоб у кого-то выкрасть их

иль выпросить?..

Тому нельзя и этому нельзя
идти за мной,
 в моём «сражаться стане».

Помру –
кому достанутся друзья?
Иль без меня
 так сразу их не станет?

Я думаю – сбудется ясная осень
весёлого толка и доброго нрава.
Такая, чтоб не причитала, а пела
и к небу струилась седой паутиной.
В цыганских покровках
 иль в простеньком ситце,
чудесная, тёплая, смелая осень –
туманная утром,

 прозрачная в полдень
и лёгкая, как вечеринка друзей.
И ты, молодая – ещё – молодая,
пойдёшь по звенящим

 московским бульварам
(одна или с мужем – какое мне дело?).
Ты просто пойдёшь
 по московским бульварам,
тревожа осенние мысли прохожих.

Вот так бы –
 остановиться и слушать,
как звон
 затихает

 твоих
 каблучков.

И вдруг –
среди этого пиршества линий,
и вдруг –
среди пиршества звуков и красок
услышишь в толпе моё имя,
и сердце –
такое вот странное свойство у сердца –
споткнётся.
И в воздухе птиц становишь.
Хотя б на мгновенье...

К ПОРТРЕТУ

Ни тоской отдалённого дня,
ни истерикой ссоры недалёной
ты теперь не терзаешь меня,
фотография в раме овальной.
Не берусь,
не борюсь,
не боюсь

и, что вовсе тебе не знакомо, –
больше я на тебя не молюсь:
не икона ведь, а? Не икона.
Стену живой слезой оросив,
ни за кем не подсмотришь незряче.
Ну, виси, если хочешь! Виси.
Больше в стол я тебя не упрячу.
Нынче наши дела не плохи:
вон звонили мне – с чьей-то подачи
напечатают, может, стихи
(целый сборник – никак не иначе).
И друг друга ни в чём не вина,
будем жить –

 я в обложке, ты в раме.

Но молчи.
Ты так любишь меня,
что предательство не за горами.

Памяти М.Н. Краевской

Ваше сиятельство!
Ваши часики
затикали только после того,
как я их тронул вашим ножом.
Мне это говорит,
что и вещи, служившие вам,
не могут найти для себя
другого места,
как только друг возле друга.
Ваши пуанты и сцена,
ваши друзья...
Милая балерина,
я никогда вас не видел в спектакле.

Но всё-то мне кажется,
будто я разлучён
не с вашей взбалмошной дочерью,
а с искусством вашим.

КАТОН

(из «Дополнений в «Corpus Caesarianum»)

«Из всех тиранов
только Цезарь презвым
решился на гражданскую войну», –
был справедлив Катон. Ехиден, резок –
возьми лишь эту реплику одну.
На рострах – не в мечях,
в речах был резок.

Но вот «под занавес»
на всю страну
так громогласно громыхнул железом!
(когда запью – Катона помяну).
Прощай, Res publica!
Пощада, как удар.
Жизнь прожита. Усмертинет рекорда.
Но всё-таки самоубийство – дар:
он, зная Цезаря misericordia,
простить себя диктатору не дал.
По морде злого гения! По морде!

ЖЕНЩИНА С ФИАЛКАМИ

Твой первый взгляд...
Не помню – летом ли,
зимой, весной, в аду, в раю
дождём весёлым фиолетовым
окрасила ты жизнь мою.

А смерть?
Ну что ж, свиданье с Летою –
род эксклюзивных интервью.
И я твоей отвечу метою
равно – в аду или в раю.

Расскажут мне коллеги дошлые
о вечных радостях в тиши.
(Молчали грешные и дожили!)

А вечны в памяти души
Твои фиалковые дождики...
Да кто их тратить разрешит.

МАРИЯ ВАРДАНОВНА (1950)

– Чем ты занят?
– Я пишу про войну.
– Что ты знаешь о войне?
– Кое-что...
Моя бабушка в войну умерла,
нас бомбили на барже. Мало, да?
– Помнишь страх?
– Когда буксир загудел.
И ещё – когда носилки несли.
– Что ты понял?
– Никогда не прошу.
– Рано, поздно ли – придётся простить.
Видел пленных?
– Я им хлеба не дал,
хоть медаль они давали за хлеб.
– Мелковато отомстил.
– Как сумел.
Жаль, что не было нагана при мне.
– Что же бабушка?
– Приходит во сне.
И, как прежде:

«Allemandes, allemandes» –
немцы, немцы...
– Не трудись – поняла.
Но французский твой
не слишком хорош.
– А вы были на войне?
– Да, в Крыму.
– На гражданской? А какая страшной?
– Та и эта. Всем известно давно:
A la guerre comme a la guerre...
Comprene'?

Контрразведка, что у них, что у нас,
а жестокость что у нас, что у них.
Всё о войнах рассказал тот уже,
кто писал о самой первой войне.

ГАДАНИЕ НА ПЛАСТИНКАХ

«Полночь. Звёзды. И вы».
Танго.

Мне нужен старый
ведомственный дом –
две серых глыбы, сопряжённых аркой,
два этажа с голодными жильцами,
две лестницы. Один слепой фонарь.
Необходимо, чтоб сырой апрель
трёх женщин разных лет

собрал в квартире
одной из них, и чтоб на окнах шторы
ни лучика не выпускали в ночь.
На стуле – благородный граммофон,
а на диване обнищавший Джерри –
ирландский сеттер с зимними ушами,
и чтоб никто к ним в двери не стучал.
Чтоб сын хозяйки (это то есть я)
не спал ещё, сидел за чаем с ними.
И будет всё, как было в сорок пятом.
Давай прокрутим старое кино...
– Вот интересно – как со стороны
мы выглядим?

Как з а г о в о р? – спросила
жена расстрелянного командарма.
И трое улыбнулись, как она.
– Ну... это чай. А если бы вино,
о чём бы мы тогда заговорили? –
сказала мама,

тыча в стену пальцем,
и – шёпотом:
– Наташа, я прошу...
– А Полуэктов наш... Как заорёт:
«Присутствие окончено! Прощайте!
Прощайте, г о с п о д а!».»

Он провокатор?
– Зачем же так? Товарищ не сидел.
И не дай Бог ему. Наташа, стоп! –
вмешалась бывшая консерватorka,
soprano dramatique.

Не Марь-Варданна –
разведчица у Врангеля в тылу.

– Смени пластинку,
будем отдыхать...

А кстати, погадаем на пластинках?

– А как это?

– Да так же, как по книге:
строка, страница... Ясно?

– Ясно, да.

Я притащил с пластинками футляр,
и мама назвала вторую слева.

Я взял её – большущая пластинка
британской серии His master voice.

– А как это перевести, Володь?

(ну и хитрющая же Марь-Варданна).

– Собака слушает хозяйский голос.

– Так это ты картинку «перевёл».

Все засмеялись.

– Ну, лихой знаток

английского... Но милые коллеги –

«Собака слушает хозяйский голос» –

что это может означать д л я н а с?

– Да что гадать? «Собака» – это мы,
«хозяйин»?.. Ну-ка радио включите, –
произнесла Наташа без улыбки, –
наверное, Иосиф говорит.

Все молча поглядели на неё

(скажу, что п о г л я д е т ь они умели).

– Ах, полно вам!

Вернёмся же к пластинке –
название, название, Володь!

– Always and all ways. Как перевести?

Вот... Я бы перевёл «Всегда и всюду».

И, кажется, попал:

– Командировки, –

сказала мама, явно погрузнев...

И мы с ней танцевали. А потом
я вытянул пластинку Марь-Варданна.

– О, чёрт возьми! «Египетские ночи»!..

Царица Клеопатра – это я.

Да, были времена, когда за ней
вилась толпа блестящих офицеров

и штаба Врангеля, и штаба Фрунзе,
теперь, увы, другие времена.

Ещё и клавиш звон не позабыт,
а руки знают тяжесть вагонетки,
и всем понятно –

нынче из Норильска
вернулась Клеопатра умирать.
Поставили пластинку... Зазвучал
неповторимый голос Журавлёва,
по комнате прошепестел эпиграф
главы: «Я царь, я раб, я червь, я – бог...».
Тут в стену постучали.
– Хоть не в дверь, –
испуганно проговорила мама, –
вот нам сигнал –

давно в постелях дети.
«Присутствие окончено, Володь!».
– Но пусть он вытащит
и мне билет,
позвольте, Антонина Алексанна! –
Наташа презирала коммуналки
и всё в них, кроме матери моей.
Я вытащил.
– Читай, читай скорей!
– Тут «Полночь. Звёзды... Вь».
– Так ставь скорее
последнюю молитву командарма.
Она была, конечно, обо мне.

Беарн, Гасконь, Альбре –
владей! Твои.
Но не к лицу мне, не по «эполетам»,
чтоб ты владела
собственным поэтом,
как Генрих благородным д'Обиньи.
К тому же я родился в год Свиньи.
К тому же я ленив. За триолетом
не заскрипит перо. А в это лето
за нас не сочиняли соловьи.
Увидит ли, что Небо начертало,
алхимик в испарениях металлов,
иль сам тебе я изготовлю боль?
Такую, что других надёжней болей –

как голову казнённого Ла Моля,
ты сможешь гордо несть её с собой.

Порой мечусь в глухом отчаянье,
порой покорствую судьбе.
Всё о тебе –
концы, начала.
Само молчанье – о тебе.
Всё за тебя –
перо готово
моей потворствовать мольбе.
Отточен слог. И только слова
всё жду я, равного тебе.

Поправие супружеского долга?..
Позор?
Кураж?
Иль – «сгинь, уйди, не будь»?
Но шёпот ваш:
– Как хорошо! Как долго!
Да говорите же хоть что-нибудь!..
Я не казнён?
Я возвращён из мрака?
Мне говорить? –
да только ведь начни!..
Я был стихотвореньем Пастернака –
таким же безудержным и ночным.
И на дворе тысячелетье то же!
В гардину ту же
прячется окно.
И дорожил я вами с той же дрожью,
и трогал вас,
как лишь ему дано.
И так оберегал себя от «читки»,
и так хотелось «гибели всерьёз»..
но шёпот ваш:
– Молчите же, молчите! –
швырял между «турусов и колёс».
Я был стихотворением. И только!

Я всё сказал. Осталось перечесть,
что нет меня,
что я на книжной полке,
и что пришло достать и перечесть.

МУЖСКАЯ ШКОЛА

(очерк)

Памяти В.В. Пальмина

Конец сороковых. Мужская школа.
Ещё мы злые с голоду. Но всё же...
Учителя, как на подбор, мужчины,
а это как-то, знаете, бодрит.
К тому же и учителя какие! –
взгляни разок на орденские планки
от «Ленина» до «Взятия Берлина»!
Да ну их, всех других учителей!
Вот химик – Пал Архипыч Романенко:
– Встань с-за скамьи.
Пойди да распиши-тко
нам формулу хлорацетафенона...
Услышишь ли такое где-нибудь?
Георгий Вонифатьевич, историк,
так часто засыпавший на уроках,
что в классе
д а ж е т и ш и н а д р е м а л а –
как нам историю не полюбить?
А уж когда наш
добрестный художник
двух летунов метелил на Подбелке,
тут все сердца
раскрылись для искусства:
мы не бесчувственные, как-никак!
И все они –
географ и биолог,
а с ними –
Кочетков, наш математик,
добрейший англичанин Карл Кауп –
не напрягают нас. И жизнь легка.
Как за войну мы все изголодались

по собственному старшему мужчине!
Лентяи,
недотёпы,
плуты,
хамы,
отличники – вся наша пацанва.
Зализывали крошечные раны,
и нам казалось – мы уже мужчины,
да только всякий

маленький мужчина
нуждается в живом поводыре.
И вот является жестокий физик –
старик блестящий
и неподступимый! –
Сократов лоб, осанка полковника,
«Циклоп» от Первой мировой войны.
Спартаец? Явно.
Офицер? Бесспорно.
Вдрызг репутации! Вперёд, работа!
Невозмутимый

ироничный Пальмин –
он справедлив. Вот только и всего.
– Жан Жак Руссо –
три разных человека?
А Гей-Люссак?.. Ну, юноша, попались!
Отсутствие элементарных знаний
всегда оценивалось баллом «два».
Поймал на невнимательности –
двойка.
Поймал меня опять – и снова двойка!
Заставил выучить таким макаром
всю физику. А больше «не спросил».
Ермилов Коля после новой пары
решил с чего-то вдруг,
что презирает
его «Циклоп» за неуспешность эту,
и перестал на физику ходить.
Но любопытство победило страхи,
к нему добавилась ещё и глупость –
через окно он наблюдал за нами
с пожарной лестницы.
И пойман был.

– Ермилов! Батенька! Какая встреча!
 Да ты уж позабыл меня, наверно?
 Зазнался. Не чинись! А будет время –
 зайди, уважь, голубчик, старика.
 Мне говорил один поэт* когда-то,
 что испытал
 при встрече со спартанцем
 священный трепет поротога зада.
 – Священный трепет, –
 повторил поэт.
 Ах, как мы ратуем за справедливость,
 ах, как мы справедливости
 не терпим!

Хотим попризанять –
 Она сквозь пальцы,
 но если в человеке есть, то е с т ь.
 И вот мы потянулись к человеку
 (и к физике его, но к человеку),
 и напряжение притяженьем стало,
 хотя он не приманивал ничем.
 Руководил ли нами математик?
 Руководил ли нами англичанин?
 Они, скорее, видели «подранков»,
 а Пальмин конструировал мужчин.
 Я не корю других – не наше дело
 заглазно ставить старикам оценки:
 они подранки сами. Повоюйте –
 увидите, кто с чем придёт домой.
 Он ранен был,
 «подранком» сроду не был.
 Подранок
 не оставит вам в наследство
 ни справедливости, ни благородства,
 чего уж о свободе говорить?
 Но Пальмин
 конструировал свободных,
 неунывающих и любопытных.
 Он всё отдал.
 Лишь поступь полководца
 Оставил за собой.
 И так ушёл.

* – Евгений Осипов (прим. автора)

ЭПИЛОГИ

1.

Поэт, как в «Гамлете» –
 Он был Король! –
 таких ко мне не замечала вьюга.
 И как они распознают друг друга?
 У них пароль?
 Он, может, ходит как-нибудь «упруго»,
 свою в себе подбадривая роль,
 а может, тайно злобится, как тролль,
 не встретив троллей избранного круга.

Я на судьбу нисколько не ропщу
 и встречи с ним тицеславно не ищу.
 Придёт –
 тогда по скорбному лицу,
 а может, по терновому венцу,
 а может, по пижонскому плащу –
 но я его узнаю
 и впущу.

2.

В трудах, в огне, в час первого соитья,
 в степи – ночными звёздами дыша,
 под лампой в росчерке карандаша
 мы познаём не тайны. Лишь события.

И женщин коллективная душа
 венчает наши горькие открытия,
 все тайны и все таинства круша.
 И мы – дерьмо, готовое к отплытью.

Но если вдруг и женщина о д н а
 (по-разному лишь рядится она),
 Тогда, быть может,
 торжество интимно?

А проявления его просты –
 и мудрый зов предсмертной чистоты,
 и стих давно обещанного гимна?

СТИХИ БЕЗ ПОЭТА

1.

А город был листвою ещё увенчан.
А норов мой ещё не остывал.
И добрых слов

не стоившая женщина
мне говорила добрые слова.

Что у реки

мне просто делать нечего,
что обо мне скучает кнут и плеть,
и, мол, гордись,

чудака, – такие плечи!

А боль?

Так значит, есть чему болеть.

И разве ты не знаешь,

сумасшедший –
нам только для того даётся боль,
чтоб не бывало никаких прошедших,
а только настоящая любовь.

Не верил я в слова её хорошие.

Конечно – ложь

(ах, да конечно – ложь!).

Ещё никто

не возвращался в прошлое,
и значит, ты назад не повернёшь.

Но, может,

каждый вечер (каждый вечер!),
по-своему наивны и чисты,
порочные, но праведные женщины
здесь занимают важные посты.

Да я и сам бы этим делом занялся –

Такой старинный благодущный бог!

Но я в ответ ей почему-то кланялся
и даже слова вымолвить не мог.

Она брела за мной – едва не падала,
и пахло скверным от неё вином.

Но так легко беду мою отгадывала,
как будто здесь ждала её давно.

Она вела меня всё ближе к городу,

всё дальше от реки –

к жилью, к огням,

и так смешно закидывала голову,
как будто в небе видела меня.

2.

Концерт Сергея Мартынова

Спасибо, музыка, за то,
чего и умным не подделать.

В.А. Соколов

Музыке не нужен исполнитель:

всё за всех решил глухой Бетховен –
в космос он свои отправил мысли,
и оттуда нам они звучат.

Дирижёр им палочкой помашет,
пианист в них пальчиком потычет,
а уж трубочку и баритону
делать нечего – «сама пойдёт!».

Все большие музыканты мира –
никакие вам не дирижёры,
никакие вам не пианисты,
баритоны или трубочки.

Музыке приличен Рестававтор,
Пескоструйщик иль Краснодарцевщик.
Можешь ли ворочать глыбы, мастер?
Вот Мартынов, он Каменотёс!

Знаете ли вы, что эти брызги,
эти бриллиантовые капли –
мысли гениального Шопена?

Подними, уж если так силён!
Музыка – простор и растворенье.
Вот попробуйте простор

и с п о л н и т ь! –

сразу повисает знак вопроса:
а каким быть должен инструмент?
Инструмент творца –
никак не меньше! –

бог ли то, Шопен или Бетховен.

И не можем мы простор исполнить,
Можем только раствориться в нём.

Научите, знаки дирижёра!
Расскажите, пальцы пианиста!
Труд души – сообщничать с богами –
правда ли простое ремесло?

Всё же –
как творится это чудо?
Спросите Серёжу, он ответит:
– Если можете дышать, дышите –
философия богов проста.
Вот о чём я думал на концерте,
глаз кося на твой точёный профиль,
и не в силах отгадать:
м у з ы к а –
чудо для тебя или ничто?

Середины просто не бывает.

3.

Polaci *

Ах ты, не-мец-ы, чёрт шар-ша-вай,
Не владеть те-бе Ар-ша-вой.

Тётя Поля

* название украдено у О.Э. Мандельштама

В соседней секции
девичье общежитие.

Туда приходят гордые поляки.
Рязань в сорок четвёртом –
польский город
(довольно польский

и вполне студенческий:
один пединститут – одни поляки).
Так вот поляки в тех конфедератках,
которые рубил ещё Корчагин,
приходят к девушкам

с цветами и конфетками,
и их разглядывает весь наш двор.
Когда идут назад, мы их встречаем
вопросом (и всегда одним и тем же):
– Вы кто такие? – право, интересно,

что за военные пришли сюда!
Мы – это
я (мне восемь лет), Андреич
(резной, как терем,
семьдесят минуло)
и Лёвушка (ему пока тринадцать,
и он, пока ещё, главней меня).
– Поляки кобели! – считает Лёва.
– Какие кобели? Да это н а ш и,
Из Царства Польского! –
вот мнение монархиста.
Андреич монархист. Он при царе
пятнадцать лет служил
в дворцовой страже
(пятнадцать лет! –
нешуточное дело),
и век свой в мыслях доживает там.

Но скажешь – «монархист»,
он отвернётся.
– Како-ое?.. Монархистов отменили!
Монарха отменили! А уж нас-то...
Считай, я нынче русский патриот.
– А Царства Польского
не существует, –
продолжил разговор умнейший Лёва.
– А-а! Отменили? Ну тогда не знаю,
тогда, наверное, бунтовщики.

Я думаю – р е в о л ю ц и о н е р ы.

Polaci не умеют нам ответить,
лишь улыбаются нездешними глазами.
И среди них есть маленький поручик
в конфедератке, набекрень надетой,
с ясновельможной панскою улыбкой –
Михал Максимыч – так его зовут.
Ну, я – к нему:

пусть всё-таки ответит,
кобель он, бунтовщик
иль что другое.
– Учитель русского, –
сказал поручик, –

по-польски я неверно говорю.
Но в наше время –

говорить по-польски
отваживаются бунтовщики,
а может, революционеры, –
такая, брат, у нас повестка дней.
– Давай-ка познакомимся поближе, –
сказал он, почему-то оглянувшись, –
ты, вот что, приходи на ипподром
четырнадцатого. Увидишь рубку.

Четырнадцатого в туманный полдень
из леса к ипподрому вышли трое:
наш умный Лёва впереди рысил.
Мы с русским патриотом

А над трибунами
плескались на ветру
и польские, и наши флаги.

И жёлтые оркестры по бумаге
играли гимн. Какой – не разбери.
Идёт соревнование в конкуре.
Впервые и в последний раз в Рязани
поляки соревнуются с ментами,
поскольку нет других кавалеристов.
Милиция на спелых жеребцах,
поляки на зелёных росинантах.
– Да это ж конница оруженосцев, –
вещает Лёва тем же самым тоном,
как говорил недавно «кобели».
Мы с ним ценители не «ах какие»,
но всё же видно, кто не взял барьер,
кто повалил бревно,

кто вперся в стенку
(городовые всё-таки получше:
их выручает резвость скакунов).
Андрейч спит.

Над пыльным ипподромом
звучит танго «Маленькая Манон».

...Мы с Лёвушкой сучали так недолго.
Бежит туман. Железные оркестры

кричат рубить лозу. Восходит солнце,
и просыпается наш патриот.

Поляки скачут, рубят. И «подвысь»
взлетают сабли. Маленький поручик
всех поражает удалством – не силой.
Летит лоза. «Ура, Михал Максимыч!».
– Обрубок должен бы

в песок втыкаться, –
ворчит себе под нос

смурной Андрейч, –
а это что же? Это баловство.

Тут едут наши.

– В стремени-то встань! –

советует менту

дворцовый стражник.
– Да повод брось,

да в руки – по клинку,
чтоб мастера видать,

да третий – в зубы.
Они щас коням уши отрубают...

Но вот финал – менты посрамлены,
и над трибунами меняют флаги.

– Бунтовщики, а победили власть...

Ну, как же это так?.. –

горюет стражник.

Про бунт, однако же, ещё не всё.

Когда поляки
отдали шкетов коноводам и
попересели в громкий «студебеккер»,
у них зашевелились рты.

– Кажись, поют! –
сказал догадливый и умный Лёва.
Оркестры смолкли.

С ветром донеслось:
«Помнят псы-ат-таманы,
помнят польские паны
конармейские на-ши клинки.
И – видно – дирижировал поручик.
Тут «студебеккеры» подняли пыль.

– Вот это да! –

успел промолвить Лёва.

Мы больше во дворе не приставали
к полякам – дескать,
что вы за народ.
Поручик две, а может, три недели
не появлялся. На губе сидел.

Из концертных номеров

1983 года

4.

Среди ночи звонок
Открываешь – лихие ГБ
притащили из хора
твоё расконцертное платье.
– Прилетает Соломенцев!
Было угодно судьбе,
чтоб и выбор на вас.
Поднесите хлеб-соль
(о проклятье!).
– А на службу успею?..
– Там все уже в курсе, мадам.
– А известно ли вам?..
– Нам, конечно, и это известно.
– А в подъезде темно!
– Не волнуйтесь, я руку подам.
Всё как будто путём:
даже автомобиль у подъезда.

Ладно, хлеб поднесла.
Эх, использовать, что ли, *carte-blanch*?
Он кусок отломил. И – в машину.
Взглянул лишь на номер.
Ты спешишь к «референтам».
Держитесь! Реваниш так реванिश.
Получайте, скоты,
принародно
концертнейший номер.
– Что хозяин не съел –
не извольте присвоить, друзья!
Хлеб верните народу.
Сегодня народ – это я!

5.

У открытой эстрады
сравнительно небольшая толпа
(не миллион же! всего-то, на глаз,
человек пятьдесят),
На эстраде...
Ах, да! На эстраде
танцуют *grand pas*.
Всё путём:
пацаны на заборе
индифферентно висят.
Вот закончилось.
Ты выходишь
кого-то ещё объявлять.
Начинаешь.
И, словно споткнувшись
на полупhrазе,
долго смотришь в меня,
как вон в тот
конопатый трельяж.
Я стою у ограды.
Растерянно улыбаюсь
всем сразу.
Длится вечность.
Народ в коллективную
мысль погружён.
(Весь миллион! Уж какие полсотни –
мне этого мало).
Всем понятно –
красивой артистке мешает пижон.
Так давайте же выбросим
этого старого малого!
И, наверно, я выгляжу
неправдоподобней китайца...
Тут ты делаешь «ах!»
и рукою за сердце хватаешься.

6.

1967.

В. Верцинскому

Пока мы идём по равнине
и музыки просим, и солнца –

чтоб некогда было взглянуть,
мы прямо идём или криво,
чтоб мы не завяли в пути –
нам солнце дают,
нам играют любимую музыку.

Пока мы идём по равнине
и топчем полынные травы –
чтоб тихие трав голоса
до нас долететь не успели,
пока не объявят привал –
нам солнце дают!
Нам играют любимую музыку!

Пока мы идём по равнине
и кости погибших тревожим –
чтоб кости почивших до нас
смутить нас в пути не сумели,
чтоб твёрдо мы шли по костям –
нам солнце дают!!!
Нам играют любимую музыку!!!

Пока мы идём –
по равнине.

7.

«Милое детство» *

(* – название поэмы Иосифа Уткина. –
прим.авт.)

Мне пять. Учусь читать без букваря.
– Кэ – и – рэ – о... Сергей Мироныч Киров
– Сэ – тэ... газета «Сталинское знамя».
и – на пластинке: – Бэ – лэ – о... блоха.
Потом эвакуация: война,
Новосибирск, чердак и чьи-то книги.
Один. Мне после бабушкиной смерти
на чердаке уютней, чем внизу.
Ещё бы!
Здесь живут мои друзья:
стеклянный ролик и сова Матвеев.
Я им читаю вслух:
– Зэ – а... Записки

У – че... учёные.
Всё. перерыв. Обед.
Берём из чистой тряпочки сухарь.
Матвеев говорит, что есть не хочет.
Стекланный ролик

жмётся под коленку.
Чего стесняется? Здесь все свои.
Ну что ж. «Учёные записки» – прочь!
Возьмём попроще. Вот –
И – о – с – и – ф У – т – к – и – н.
И строчки расположены красиво,
и – складно.
Понимаем, что – стихи.
«Кто виноват в этих странностях был?»
Пушкин? Весна? Или что-то другое,
но тараканов я не любил.
И не любил я покоя».

Ну надо же! – вот странные дела –
Иркутск! А, как у нас в Новосибирске,
и на окошке тлеет занавеска,
и бьёт посуду зимнюю весна,
и странные и страшные дела:
друг Уткина ухлопал тётку друга
(стеклянный ролик

жмётся под коленку,
мне больно, я уж начинаю злеть).
Но тут Матвеев – умная сова –
мне говорит, что он давно заметил –
сегодня я читаю – не по буквам.
Вот это да!
Ну, братцы, перерыв.
Прощаемся. На чердаке темно –
в Новосибирске светомаскировка?
Нет. Просто
маленький стеклянный ролик
бормочет:
– Уходя, гасите свет...

– Что делал?
– Научился отличать
от жеребца кобылу.

– Ка-ак?

– По виду.

Ну... во дворе.

– Так ты их видел вместе?

И – порка.. (Уж про Уткина молчу).

Что ж, порка – объявление войны
(гражданской,
как потом подкажет мама,
но мама очень далеко – в Рязани,
и мне до встречи с ней ещё дожить)...

Теперь нас четверо на чердаке:
стеклянный ролик, я, сова Матвеев –
три мушкетёра
(будем – как у взрослых!)
и Уткин, научивший нас читать.

Читаем –
понимаем, что к чему:
война Отечественная далёко,
далёко-далеко, где моя мама,
а здесь кругом гражданская война.

И Уткин на военном жеребце
в передовом отряде с другом Костей,
и генеральша в меховой ротонде.
И выстрелы. И пара на снегу.

Брульянты Костя
рвёт у мертвецов...

И Уткин из нагана шесть –
по Косте!

Стеклянный ролик
жмётся под коленку,
и тут уж не выдерживаю я.
Тазу его на рельсы под трамвай.
Хруст! –

вот я предал маленького друга.
Ко мне теперь он больше
не прижмётся...

Матвеев! Почему ты промолчал?..
Зачем я снова лезу на чердак,
где подлость презирающий Матвеев
глядит, как сокрушаются убийцы –
Иосиф Уткин и сопливый я.

8.

28-е июля.

Моя любимая, здравствуй!

Итак, я живу в гостинице,
в номере на двоих.

Пишу тебе поздней ночью,
и если путаю краски,
значит, тоска и время
перемешали их.

Город провинциальный,
медленный, двухэтажный –
ранняя цивилизация,
где-то в начале начал.

Голуби на карнизах,
и на четыре сажени
выше домов
пожарная каланча.

Смутное в городе время:
обыватель напуган убийствами.

Одно другого бессмысленней,
девять подряд убийств.

Поэтому в нашей гостинице
поселились чекисты
(странствующие рыцари,
как видишь, не перевелись).

Только на них надежда.
И не надежда даже –
пока они щит,
и пока они

не обнажили меча,
их приветствуют в городе,
в медленном двухэтажном,
в ранней цивилизации,
в самом начале начал.

Их потихоньку ругают
и вслух перед ними заискивают.

Их провожают взглядами
от дверей до дверей.

Глупая времени трата –
лучше пойти с чекистами:
это мужское дело –
охота на диких зверей.

Спросят,
 как я стреляю,
 как тренировано тело –
 стреляю я, право, ни к чёрту,
 и почему-то в друзей.
 – А как насчёт фехтования? –
 тоже мужское дело.
 – Я дуэлянт, гидальго!..
 И поведут в музей –
 мол, выбирай оружие.
 Помни – от этого шага
 Будут зависеть судьбы
 и лично твоя судьба.
 Меч я оставлю чекистам:
 мне больше по нраву шпага,
 щит передам горсовету
 для городского герба.
 – Шляпу, ботфорты, плащ
 и нейлоновую сорочку.
 Спешно –
 портного, сапожника,
 химика и ткача.
 Позднее средневековье!
 Будем знакомы очно!
 Время к рассвету.
 Рыцари
 в номер ко мне стучат.

9.

Я стою на платформе,
 от мороза трещащей –
 и одет не по форме,
 и с виду балда.
 Принародные кары тебе обещающий,
 я надеюсь, что ты
 не приедешь сюда.
 Свадьба, «горько»
 и много посудного звона.
 Однокурсники, мамы,
 соседи, родня..
 Вдруг заплачет
 весёлая Н. Артамонова,

догадавшись,
 что ты не полюбишь меня.

Пересядь с полдороги
 на первый же встречный –
 лучше сам я
 сосулькой в платформу вращу.
 И от скольких же бед
 мы спасём человечество...
 А всего-то тебе
 не доехать версту.

10.

Славянофильское

А. Архипову

Мы пили водку на могиле,
 забросив пиджаки на куст.
 Мы не к добру расшевелили
 косноязычный пламень уст.
 Покойник встал, потёр медали,
 взглянул на пиришество мужчин.
 – Эй, брашно мне!

Ему подали
 складной подержанный аришин.
 Овеянный печальной славой,
 аришин лет десять был в строю.
 Покойник взял его.

– Лукавый
 Фиал, – сказал он. – Узнаю.
 Я помер от пианства, братцы,
 а нынче заиграла кровь!
 Мне захотелось вновь надраться...
 И по привычке помер вновь.

11.

Подражание песне

Странная женщина, странная –
 грубая, глупая, дикая,
 злая, коварная, подлая,
 пошлая, грязная, мерзкая.
 Странная женщина – мелкая,

низкая тварь, непотребная,
пьющая баба, развратная,
что ты печальна, мой друг?

12.

До-диез мино́р

Мне так нравится,
когда в ответ на мои размышления
ты говоришь – «построено на песке».
Мне так это нравится,
что, когда я помру,
пожалуйста,
похорони меня на песчаном пляже.
Но не спеши:
для таких похорон
наверняка потребуется
чьё-нибудь разрешение.

Не хлопочи – это было бы слишком:
я не хочу после смерти
внимания большего, чем теперь.
Тогда – в степи, а?..
Только небо поверх жары
натяни потуже.

И – никаких венков:
я сам себе собираю тюльпанов
в каждую из грядущих вёсен –
целую степь.

Ах, да! Я забыл – степь неблизко...
Похорони меня на пустыре
и попроси рукастое Солнце
согнать ко мне
ласковыми подзатыльниками
небольшое сосновое стадо.
Да собери друзей.
Всех без малейшего исключения
(было бы странно
кого-то из них назвать
малейшим другом моим).

Это разные люди,
но то-то обрадуются,
собравшись вместе, –
тебе не придётся гостей занимать.

Видишь, как много мне нужно –
всех сразу друзей.
И ещё одного Постороннего.
Подыщи,
чтоб был с расстроенным лицом.

13.

До Мажор

Прикажете тенору
начать с фортиссимо!
Чего только не сумеет
воспитанный человек,
если ему покажут, как это делается.
Начинать надо так,
чтобы великие
возмущённо кряхтели на пьедесталах
и затыкали непогрешимые уши.
Так бы и я начинал,
будь мне в начале – семнадцать.
Теперь я охрип. И всё-таки:
– Здравствуйте, Данте!
Садитесь, поговорим.
Я собираюсь похитить
у Вас Беатриче:

Вы слишком стары для неё,
она стара для меня,
но представьте
две предыдущие строки
в До Мажоре –
ведь правда, занятно?
Повеселимся вместе!

Ударьте-ка в бубен!
Ах, это венец? Он лавровый?..
Бронзовый!
Ну так – бронзовый звон
в честь мою и в честь Беатриче.
(Считайте, что я уже спёр её).
Но постоит!
Куда Вы? Вернитесь!
Удрал... Перестал охранять!
До чего привык за века
к подлости конкурентов!

*Напрасно:
сонеты я собирался ему оставить –
такое богатство!..*

14.

Библиотека

Прочтёт стихок, оторвёт листок,
скинет пояс и – под кусток.

Э. Багрицкий

Я читатель.

*Нас и сонмом не счесть –
все из плоти, из костей, из крови.
Сами знам – человек, как он есть,
человечьей не достоин любви.*

Но рискует Пастернак:

– Всюду бог!

Мандельштам:

*– Ни сям ни там бога нет.
Каждый истинный подводит итог,
каждый искренний диктует ответ.
Неподъёмную мы тяжесть несём –
Не отторгнув ни листа, ни строки,
любим мы литературу «за всё»,
литератора – всему вопреки.*

Что с него? Небось прибытки казне?..

*Кто бы нам не навевал эту чушь –
литератор никакой не кузнец,
не конструктор человеческих душ.*

*Я влюблён – ликуй, родная страна!
Разлюбили – разлетись в пух и прах!
И прощайте, аферист Пастернак:
видно, Осип-то Эмильевич прав.*

15.

Оленьке Чекмарёвой

*Весьма почтенная седая дама,
которая (ты помнишь?) нас учила
гармонии и такту, и нахальству*

*одним движением обнять октаву,
сказала мне однажды:*

– Ты бездарен.

Неслыханно бездарен – ты застенчив.

*Ты никогда не станешь пианистом:
ведь даже шулеру и змеелову
застенчивость нужна гораздо чаще,
чем пианисту.*

Я не испугался:

*ирония дошла не в полной мере –
мы «шулера» ещё не проходили
и «змеелова» тоже.*

Но досада

*на это вот – «не станешь пианистом» –
исторгла из невинного рояля
такую беспардонную отвагу,
такую фальшь, что стало непонятно,
за что здесь только что*

брали скромность.

И дикие куски –

*осколки музыки
шуришали вниз по водосточным трубам
и с грохотом рвались на тротуарах.*

– Истерика, – заметила старуха.

И, оседлавши помело, исчезла.

*Позднейшие учителя считали,
что, видимо, она во мне ошиблась,
и что нахальству я вполне обучен,*

а не хватает такту,

но сходились

все на одном –

«не станешь пианистом».

16.

Тема

*Плохие стихи равнодушно уча,
к приёму готовится Лета:
поэты несут хоронить стукача,
по случаю тоже поэта.*

Он мразь, он ничто,

он скудельный сосуд,

он небыль. Но были и были!
 А эти – взялись донести – донесут:
 как он доносил, не забыли.
 Как в даль
 от истерзанных горем семей,
 другого не ведая горя,
 за тридевять самых суровых земель
 тащились в его «оргнаборе».
 И «лозунг», который ещё до сих пор
 врывается злыми ночами:
 – Из мёртвых поэтов сколотим забор.
 Изволите красить, начальник?
 Он будет другими Судьями судим,
 и, крепко надеясь на это, –
 за дальностью лет,
 за покровом седин,
 за гробом простили поэты.
 Вот так бы и нам –
 обходиться без шор,
 и счастье и горе помыкав.
 И звали меня.
 Только я не пошёл –
 не знал, что скажу на поминках.

17.

Литератор без сюжета
 и художник без картины,
 за церковную ограду
 мы спешим на всех парах,
 где под бронзой и гранитом,
 лабрадором, травертином
 все сословия и классы
 деклассированны в прах.
 Мёртвые не имут срама –
 всем уютно, все соседи.
 Здесь ни чин не благодичнен,
 ни наследственная спесь.
 Никого не любят мамы,
 никого не мучат дети.
 Всяк здесь по своей причине,
 но со всеми равен здесь.
 Мир чудесных превращений:

бойкий уличный автобус
 превращается в печальный
 ритуальный экипаж.
 В реставраторов надгробий
 превращаемся мы оба –
 выполняем прозу бронзой –
 это заработок наш.

– Make your money! – скажет нищий.
 Этот нищий нам товарищ.
 Не придём – прогол запишет
 этот нищий у ворот.
 Здесь у нас полно знакомцев –
 божьих тварей, просто тварей,
 да и мы похожи сами
 на кладбищенских воров.

18.

Предводитель дворянства

– Что происходит в мировом кино?
 – Ах, ты не знаешь? Я не знаю тоже,
 хотя, казалось бы, совсем негоже
 не пользоваться тем,
 что «в нём темно».

– Нам не шестнадцать!
 – Ты права. Молчу.
 Я старше на эпоху (на две даже).
 Кинематограф, в сущности, не важен.
 Я лишь хочу
 того, чего хочу.

Ты верно поняла меня. И так,
 мы не идём в кино. Мы остаёмся
 и всем, что отдаётся, отдаёмся
 друг другу.
 Мы – одно. Но я чудак:

вдруг показалось – дверь не заперта,
 и я иду на «запирание двери».
 Ты шепчешь вслед: «Атлантик мой!».
 Не верю.

- Не видь меня!
- Не видеть, простота?

Я эти волосы люблю. И нить.
И на груди пушок. О нём я «слышал».
И оттого, что слышал, «едет крыша».
Но не могла ж ты до меня не быть...

- Что главное в любви?
 - Наверно, страсть.
 - Нет, так нехорошо!
- Наверно, верность.

И я о верности - так лицемерно:
- Не убывает, сколько не истрать!

- А кроме шуток?
 - Главное в любви
случайность встречи:
- ведь - одна минута,

и мы с тобой могли бы разминуться.
Вот этот страх -
он у меня в крови.
- Ах, ваше поколение и страх! -
Какая тема! Всех вас ненавижу:
Крутую жижу разбавляют жижей,
На жидких же настоянной стихах.

И вот ты поколение громишь,
что не расчистило для вас дорогу.
И в эти сто мгновений (ей же богу!)
Новейшую историю творишь.

Потому что слово - это поступок.
Все эти сто мгновений ты выглядишь
comme un chien, qui viser à piss dans un
violon, и завершаешь разгром с милой
небрежностью: «Как низко пало рус-
ское дворянство». А ведь в сущности ты
права: «Художники нашего времени по-
хожи на кающихся российских дворян:
и тех и других извиняет только их
больная совесть» (Альбер Камю).

- Но чёрт возьми! Я мер не принимал,
чтоб только уберечь свою утробу.
Я большие никого не встречу, кто бы
так хорошо меня не по н и м а л.
- Пожару не хватает лишь огня.
Но ты мою обиду прерываешь,
и рот мне поцелуем закрываешь,
и вновь «атлантик» и «не видь меня».
- Мы часто у тебя. Но чаще здесь.
И вот идёт художник.
- Вон из спален!
- И он влюблён?
- Всего лишь гениален.
- Хотя инверсия, пожалуй, есть.

- Что происходит в мировом кино?
- И ты не знаешь?
- Я не знаю тоже.
- Ну!.. На тебя уж вовсе непохоже.
- А я ведь не был там давным-давно.

И ты звонишь.
- Ребята, мы горим!
Не хмурься.

Уж теперь не до упрямства...
Идёт впервые русское дворянство
в кино под предводительством твоим.

19.

Индюльгенци выданы
(сам Господь подписал).
Я страстями невыдуманными
топлю небеса.
Процены мои гадости:
не на каждом шагу
я в обиде и в гордости
буквы русские жгу.
Ах, фамильные горести!
Ах, бумажный восторг!
Согребаются в горсти и
согревают восток.

И дымит моя лирика,
и тревога дымит
вся – от первого выкрика
до твоих «до, ре, ми...».
Ночь – монашка и странница
на тропе беговой,
отчего мне так нравится
подлый твой приговор:
«Не мотался бы по небу –
не твоя, брат, стезя?..»
Гоголь, может, и понял бы,
да вот где ж его взять?
Так тревожит спокойствие,
так безмолвен серьёз –
это, видимо, свойственно
для моих Лакриоз.
Да и пальцы бескровные,
да и губы горчат...
Молодая ирония,
воротись! Выручай!
Не вернётся, не выручит,
не возьмёт на крыло.
И улыбки не вымучит –
Ей самой тяжело.
Выручает милиция
Со своим rougou.
Объясняю: – Язычество,
мужики! Ритуал.

20.

По одежке

Вот мы приехали – тебя встречают:
– Какая женщина, какая женщина!
Какая женщина, какая женщина!
Какое платье! Какая женщина!
Вот мы прощаемся – тебе вдогонку:
– Какая женщина, какая женщина!
Какая женщина, какая женщина!
Какое платье!.. Какая женщина!

21.

Кавалеры твои надоели!
Уж хотя бы молчала об них.
– Эй, простите! На этой неделе
нас не грех бы оставить одних.
Господа! Неужели не ясно? –
не до вас, господа, не до вас.
Наша дама сегодня согласна
лишь со мной
на стремительный вальс.
Лишь мои её радуют речи.
Лишь со мною свидания ждёт.
Но я знаю, что вечер не вечен,
что вообще я, конечно, не тот.
Ваши автомобили и норки
после праздника в первый же час
неизбежно дойдут до подкорки,
а пока –
не до вас! Не до вас!
Подождите вон там, у ограды.
Что вам тур, что другой – ерунда!
И хоть этому будьте вы рады,
господа.
Если вы господа.

22.

Гравюра

Вешний день восклицательно ясен!
Как некстати! Зачем? Для чего?..
Вон художник – он мудр и безгласен,
я хвалю мастерскую его.
Там в пенальчиках
штихели скрещены,
словно стрелы (а может, ножи!).
Там рисуют ту самую женщину,
у которой прозвание – Жизнь.
То ли богом, то ль чёртом помечена –
для художника всё неспроста.
Он рисует летящую женщину
и приводит в exlibris kota.

Он рисует прелестную женщину,
не страшась её огненных чар.
Он рисует волшебную женщину –
сам себе и волшебник, и царь.
Хоть не знаю в геральдике толку я,
как вассал обращаюсь к царю:
– Нарисуй мне печального волка, а?
Сам себе для герба подарю.
Но художнику грусть не завещана,
и как мальчик, не знающий зла,
он рисует ту самую женщину,
что меня от себя оторекла.

23.

**Стихи, проигранные Татьяне
в споре по смешному поводу**

До и Си – нас двое в странной гамме.
По ночному Ряжску проплутав,
так и не заметим, что меж нами
расстоянье в несколько октав,
что несостоявшиеся вальсы
удержать немлыслимо в горсти,
что сведёт у пианиста пальцы,
если нас попробует свести.
Вырвались из звукового ряда
и теперь (плевать на звукоряд!)
ты, по-моему,
ужасно рада,
я, по-моему,
ужасно рад.
Сигареты в зубы, морды к небу!
Никаких тебе клавиатур!..
Кто нам светит?
Ригель?
Или Регул?
Альфа Волопаса – сэр Арктур?
Лужи – вздор, нет пустяковой вздора,
вброд так вброд – видали их!
Не раз!..
Чёрт ли нас принёс в пресветлый город
попирать классическую грязь!

Музыкант отстал.
Небось, в кювете?
Матерится, проклинает тьму.
Сон ему приснится на рассвете
(впрочем –
может, вовсе не ему).
вдохновенный сон – подать чернила!
Странный сон,
хотя сюжет не нов –
будто бы мы сами сочинили
музыку всего из двух тонов.
И пока мы лёгкие калечим
Да стихи читаем на износ,
Тряпочный смеётся человек:
«До», «Си»...

жаль, что дальше не из нот...».

24.

Подражание Кедрину

«У поэтов есть такой обычай –
в круг сойдясь,
оплёвывать друг друга...».
Этот способ самовыраженья
до сих пор в большой у них чести.
Что там короли да президенты!
И какие, к чёрту, бургомистры? –
Власть Советов (!)
запретить не в силах
это дело (господи, прости!).
А и то сказать –
с какой бы стати
запрещать невинные утехи?
От плевка ещё никто не умер.
Разве что – от нескольких подряд...
– Выразительно?
– Невыразимо!
– Отразимо ли?
– Неотразимо!
– Не поэт – утрись и топай мимо! –
вот как на Парнасе говорят.

25.

Подражание Пушкину

«Как молодой повеса ждёт свиданья
с какой-нибудь
развратницей лукавой
иль дурой, им обманутой, так я»
весь день минуты ждал, когда смогу
наедине с самим собой остаться
и совести копейку приобщить
к моим богатствам.
Многие, я знаю,
наедине с собой в мученьях тайных
пытаются свою очистить совесть.
Моя – чиста!
Ведь многие века
в употреблении она не находилась.
Я рыцарь совести.
Мне жаль
её разменивать на дело и безделье –
я призван с о х р а н и т ь её.
Иль есть
Задача в мире благородней этой?..
Сегодня я кладу дневной доход –
копейку совести.
Что – много или мало?
Я ехал лесом.
Слышу страшный крик
отчаянья –
за человеком гнались
могучие, как зло, лесные твари.
Я мог бы протянуть ему копьё
иль руку
иль вступить за него
с оружием,
но совести копейка
при мне была. И я ей не дал ходу.
Я шпоры дал коню.
И поскакал.
И слышал за спиной
стенанья жертвы
и торжествующие крики тварей.
О небо!

Благородное кипенье
искало выхода,
и страшные проклятья
я посылал лесам, где пролилась
кровь человека.
Где-то я читал,
что равнодушные не убивают,
не предают.
Но знаю – только с их
всемилоостивейшего позволения
предательства кочуют по земле
(высвобождая совесть в чистом виде).
Копейка совести...
Что ж – много или мало?
Немного, кажется. Но понемногу
сокровища мои растут.
Моё богатство – совесть.
Я не стяжал его – само скопилось!
Но скуп я тратить этот капитал.

26.

Начало

Вет в гостиничный номер
холодом из-под штор,
шастает полночь по миру,
молодо спит шофёр
и, провалившись в койку,
я на показ судьбе
с несокрушимостью стойка
думаю не о тебе.
Да. Я молчу.
Ну не глупо ли
то, что случилось днём! –
по плечу
меня хлопали,
мол, не играй с огнём.
Я: – На такую юную
вовсе не действует грусть.
Ты: – Не играйте «Лунную»,
ладно? А то влюблюсь.
Что, хороша заповочка?
Будем считать – не всерьёз:

мне, ей же богу, девочка,
не до серьёзных угроз.
Есть и жена и – кроме...
Впрочем –
отбой, отбой!
Веет в гостиничный номер
новой моей судьбой.

27. Мы (1940)

– Мам, ура! Разбили белофиннов!
– Да. Война закончилась победой.
– Мам, а мы?.. Ведь не за белофиннов?
– В зеркало взгляни – какой ты финн?
Что за синяки?
– Мы так играли.
Я, Картинкин и Чечень – за наших,
вдруг ка-ак сзади!..
Мам, чего ты плачешь?
– Даже дети не щадят своих.
– Мам, а папу... расстреляли наши?
– Что ты сердце рвёшь?
Что за вопросы?
– Успокойся, сын. Я успокоюсь.
Будем думать, что наш папа жив.
– Мам, а говорят, что мы дворяне...
Это – что?
– Мы люди, часть России.
Помни, сын, мы никого не хуже.
– Мамочка! Ты – самая моя!
Говорят, что мы... враги народа.
Что от нас и Сталин отказался?
– Спи, сынок.
За нас Толстой и Пушкин.
Нет у нас врагов. Одни друзья.

28.

Звон и весна

– Привет!
– Но ведь ты пошла святить кулич.
– А вот взяла и к тебе завернула.
Всегда так буду...
– Что ж – «сердцу девы нет закона».
– Какой ещё закон?.. Враньё!
Вон – стол, окно, чертёж балкона –
здесь всё моё, раз ты – моё.
– Давно ты поняла?
Два года.
Ну помнишь? Мы (ещё с А.В.)
К тебе нагрянули. Увы –
ты с нами не пошёл. «Погода!..»
– Я не запоминаю числа.
– ...увидела твои глаза,
А в них – распутство и бесчинство
И сладкой каторги гроза.
– Послушай, Пасху отменили?
Иль в церкви служба не пошла?
– Во всех церквях колокола
всю ночь про нас с тобой звонили!
У «скорпиона» с «водолеем»
не христианское жильё...
– Ты не крещён?
– И не жалею.
Но ты – моё?
– Твоё, твоё...
И вновь надменно и скандально
апрель врывается в окно.
Пасхальный звон
иль звон кандалный –
сейчас нам, право, всё равно!

◆

Т О У Т А ' Т О I

1.

Я сослан.
 Ах, в самом же деле –
 к чему бы терзаться двоим?..
 Я создан
 ещё для дуэли
 с последним подонком твоим.
 Ещё на горе за музеем
 не скоро встревожим ворон.
 Ещё соберём ротозеев –
 охотников до похорон.
 И юности верная вечность
 прочтёт на последнем краю
 его молодую беспечность
 и злую решимость мою.
 И станет мучительно ясно,
 кому не хватило ночей.
 И будет смеяться согласно
 познавшая истину чернь.
 Я сразу – про то
 и ПРО ЭТО.
 И холодно мне от того,
 что был я соперник поэта,
 что пережил даже его,
 что всё это – старая драма,
 а привкус такой «аржаной»,
 что литературная дама
 была нам обоим женой,
 что вышло ей так – поневоле
 делить со мной стол и кровать,
 что выжил я не для того ли,
 чтоб заново переживать.
 Так, может, спасение – ссылка?
 Хоть новых кровей не пишу...
 Зачем же пишу я так пылко
 и рифм поновей не ищущу?..

2.

Я вернулась!
 Вернулась, приехала!..
 Этот город – там грустно без вас.
 Этот берег с кустами ореховыми

так намеренно пуст и безглас.
 Я на палубе мёрзла отчаянно –
 каждый нерв, каждый волос продрог.
 Я вам рада,
 а вы не встречаете –
 ни собака,
 ни ты,
 ни порог.
 От чего мне велите открещиваться?
 За какие грехи отвечать?
 Мы устроим всё заново,
 крепенько.
 От счастливых нас
 не отличат.
 Соглашаться?
 Умно, не иначе, как
 «всесторонне изучен вопрос»..
 Но о чём-то молчит в одуванчиках
 мой стремительно мыслящий пёс.

3.

Смяты фланги, и флаг не положится,
 и в агонии дерзкий редут –
 по равнине моей, как по площади,
 твои детские кони бредут.
 Выступают костистые призраки
 в тишине заходящего дня,
 высекают копытцами искорки
 из меня.
 Мне пока что не страшно – не верю я
 в обязательность мук и тревог...
 Как изящна твоя кавалерия!
 Легконога, как пляшущий бог!
 Как сверкает тот лучик на стремени!
 Как твой лучник природно красив!
 Блазородно-то как оперение
 на каскетках твоих кирасир!
 И тревожная,
 ложная,
 грозная,
 несуразная мчит мишура.
 Я со всей невозможной серьёзностью
 принимаю дурацкий парад.
 Ах, как пульс веселится и бесится –

накати,
 усмири,
 усредни!
 На колёсах твоей околеесицы
 столько судеб смешались следы.
 Принимаю своё поражение
 и летящий твой розовый шарф,
 и лихое твоё окружение,
 и грехов твоих разовый шарм.
 Принимаю
 и бег твой игрушечный,
 и лукавую барскую спесь.
 Камень брошенный,
 город разрушенный –
 всё твоё принимаю, как есть.

4.

Рассорились. Ты сказала:
 – Пора нам опять «на Вы»...
 Я у речного вокзала
 среди молодой листвы.
 Промчат молодые сумерки,
 ничьей не задев судьбы.
 Смолчат молодые умники,
 гитары свои забыв.
 И убегает искорка
 от молодого огня.
 Ты потеряй и быстро-
 быстро найди меня!
 Старческое моё соло...
 А ведь зови – не зови –
 всё, как у Шкловского в «Зоо»,
 в «Письмах не о любви».
 Что дурака валяю? –
 если по существу –
 таких, как я, не теряют,
 таких, как ты, не зовут.
 Впрочем – откинув норы,
 локтем проткнув траву,
 думаю,
 что ты город,
 в котором я не живу.

5.

На высоком белом
 окском берегу

я тебя несмелую
 не уберегу
 от звенящих мошек
 и кусачих трав,
 а сама не можешь
 обозначить нрав.
 Тот, в котором плывал
 полутёмный бар,
 тот, который правил
 сатанинский бал,
 и который ставнями
 закрывает свет,
 и который ставит
 нас под пистолет.
 Иль самой мешает
 эта злая прыть? –
 ты стоишь, решаешь,
 плыть или не плыть.
 Ты покорна, знаю,
 заодно с рекой.
 И совсем не знаю
 я тебя такой.

6.

Какой-то час какого-то числа,
 и снова я рифмую: Таня – тайна.
 Пожалуй, рифма не совсем случайна,
 но это ведь не тайна Ремесла.

Я пил все девять лет – не помни зла –
 чужих колен касался. И отчаянно
 молчал о том, что у меня есть тайна,
 поскольку тайна замужем была.

И всё-таки, по доброте души,
 Тайна Борисовна, не разреши,
 чтобы молчал, чтобы во мне молчала.

Вот снова март, и снова снег валит.
 И снова кажется, что бог велит
 считать, что продолжается «Начало».

7.

Троллейбус. Ты. Глаза летают.
 Не тайна – руки. Тайна – плечи.
 Да. На людях нам встреч хватает.
 Но я другую помню встречу...

Не встречу – вечер. Мы друг в друге.
 Рука в руке, в пожаре лица...
 Твои застенчивые груди
 взволнованной отроковицы.

Опять троллейбус. Сто соседей,
 чьё зрение неутомимо.
 А ты всё едешь... Едешь, едешь
 на дачу, к дочке. Мимо, мимо
 меня.
 И даже в свете дня
 ты Невидимка для меня.

8.

Пришла. Читаешь, наконец,
 склонив классическую голову.
 Бант в волосах – отдельно.
 – Здорово.
 – Меня разглядываешь?
 – Нет-т...

Растаяла среди страниц,
 опять блеснув глазами молодо...
 Как я любил и эти молнии,
 и твой порхающий венец!

И вдруг:
 – Не помнишь, сколько лет
 я жду обещанный сонет?
 Да чтоб «красавица и умница»,
 Чтоб окончание «е – d».*

Но будет сниться мне и помниться
 В прекрасных волосах *chef-d'œuvre*.

* – d – e – d – порядок рифм в трёхстишии
 французского сонета.

Парижские тайны

9.

Сначала бал!..
 Блеск чистых диадем,
 сверкание камней и свет сюрпризов.
 Феерия.

Вандомский граф! Кондэ!
 А Колиньи! А Медичи! А Гизы!..

А – та? Ужель сама графиня Сов?
 Язычица! Туника иль сутана?
 Шёлк, бахрома, перчатки из цветов! –
 секрет Наварры?
 Полно! Тайна – Таня!

Париж не видывал досель Татьян –
 тем хуже для него: не быть бы биту.
 Не выдуманый мной де Сент-
 Этьенн
 уже подносит Тане графский титул.
 Ну, я доволен.
 Бал со сцены – прочь!
 Тиха Варфоломеевская ночь.

10.

J'ai possede maitresse honnete.
 Je la servais comme il lui faut,
 Mais je n'ai point tourne de tete,
 Je n'ai jamais vise si haut.

Alexandre Pouchkine *

Достоинства не поддаются смете.
 Но есть цена девичьей красоты:
 пороки наши тем ведь незаметней,
 чем легче над своими встанешь ты.
 И два твоих Анри – не добродетель,
 и добродетель пуце пустоты.
 Но говорить об этом не в сонете.
 не мне, и уж никак не с высоты.
 Ведь нам (толпе)

и царский свой исток,
 и смех, и грех, и праведные чувства,
 и пышный двор, и гугенотский трон,
 и ближнее к отчаянью – восторг
 раздашь по здравомыслию безумства.
 Ещё бы! –
 всё мог твой «Гептамерон».

* Она строга и синеока.
 Я деве преданно служил,
 Но головы ей не кружил,
 Я и не метил так высоко.
 А. Пушкин, 1821 г. (пер. Г. Сапгира)

Р Е М Е С Л О

1.

Родословная художника.

Вл. Сёмину.

Гордись, что перед миром ты предстал
в Рязани – не в какой-нибудь Небраске:
аристократ разъял твои уста,
подбросил в ясли детские наброски.

Нам предок оставляет пьедестал,
а прочие – объёдки да обноски.
Ну что бы Микеланджело создал,
не будь по крови герцогом Каносским?

Не в этом ли и тайна Ремесла?
Гордись!

Тебе завещано веками
на плоскости рабочего стола
одушевлять и дерево, и камень.
Иль под уздцы вести колокола,
бегущие вослед меж облаками.

**Из «Дополнений
в «Corpus Caesarianum»**

2.

Цезарь.

Был Цезарь прав: «Республика ничто!
Пустое имя. Без души и вида», –
триумвират оставив за чертой.
Но можно ли быть правым, ненавидя
то, чем вскормлен –

не воинства четой

(Помпей да Красс) – авгуры и друиды,
плебейская контора и чертог
равно дрожат, когда на сцене идол
властителей – гражданская война.
Не досчитайтесь новых поколений,
сметите с ваших ног

солдатский прах,

и, зачерпнув истории со дна,
уверьтесь –
в дни, когда по д о н о к гений,
республика – ничто.
Тут Цезарь прав.

3.

Цицерон.

Права – zero. У правоты – цирроз.
Штандарты демократии в обозе.
Что защищает консул Цицерон,
громя в сенате первых мафиози.
И верит ли Марк Туллий Цицерон,
роняя риторические слёзы,
что он последний

«нравственный герой» –

в одном лице оратор и «угрозыск»?
И вряд ли бережёт он жизнь свою
(хоть на войне и жизнь –

не вся утрата),

Ведь не за кем бежать, когда в бою
истец и суд, ответчик и оратор.*
Недолго достигал его Июль.**
Настиг – протил.

Не жаль мне демократа.

* – Цицерон: «Мне есть от кого бежать, но не за кем».

** – Месяц квинтилий переименован в июль
в честь Цезаря.

4.

Египетские ночи.

Пурпурный плащ утоплен –
чёрт бы с ним! –
хоть сам-то не попал
к александрийцам!

А ведь Фарос* едва ли объясним
лишь чарами египетской царицы.
Спас записные книжки.

Что в них – сны
о ней? Или крутая ламца-дрица?
Иль – «под её стопую до весны

при слухе

*слуг не скрипнет половища»***

Власть женщины –

единственный закон,

которому ты верен, Небожитель.

Дерись с Помпеем. Он ещё силен,
царей (а не цариц!) ниспровержитель.

Но Потин выгнал Клеопатру вон.

Ты триумфатор.

Евнух победитель.

* – При Фаросе Цезарь чуть не погиб.

** – Цезарь возил в походы разборные полы.

5.

Брут.

Отец отечества,***

толпа в кружалах

провозглашала здравие твоё.

Но вот среда,

и двадцать три кинжала.

Один смертельный.

– Ты?.. Дитя моё.

А в час, когда ещё не угрожало
лакейски-трепетное вороньё,
кого тебе Сервилия рожала?

Отечество? От бремени её.

А наше?.. Ёлки-палки! От орды
до этих дней (ещё раз ёлки-палки!)
уверены, что только трус не крут,
мы так своим отечеством горды
и так неправы!

Сказано в запалке,

но сказано:

«Он в Риме был бы Брут!..».

*** – Один из официальных титулов Цезаря.

БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Не вижу стихов для потехи
(особенно – ради божжей),
хоть днюю я в библиотеке...
Ночую в пустом гараже.
Он вместе со мною отыщёт
в стакане огарок свечи,
и вместе со мною освищёт
скандальный мой кашель в ночи.
Моею случайной отвагой
гаражная дышит душа,
и плачет печальною влагой,
которую я надыхал.
Его полюбил я,
наверно –
как взрослого стынувший шкет.
Мой берег, мой оберег верный –
и он в январе не Ташкент.
Вот город! –
не надо и рая.
(Иль сразу – из рая да в рай).
А всё ж из Ташкента в Израиль
знакомый отправился врач.
Сефарды, жиды, караимы –
кого исцелит его нож?
Живёт, небось, в Ершалаиме,
жуирует, если не божж.
Там наших немало, вестимо!
«Привет из родных палестин».
Наш Лермонтов в Палестину
чуть Демона не поместил.
К нему, вероятно, донёсся
слух борзый: из дальней дали
грузинские крестоносцы
в обозе Тамару везли.
А дальше и Африка! –
этот
поистине русский beau monde.

Туда наезжали поэты –
и сам Гумилев, и Бальмонт.
Чуковский писал Бармалея,
какого придумать нельзя,
а Брюсов, спустясь в бакалею,
мемфисские встретил глаза.
И вижу я в водах Мериды:
на жарком песчаном плато
стоит, как гараж, пирамида,
и в ней не ночует никто.
Не надо бы радио слушать –
не верю (не мальчик уже),
что может «Хеопса» разрушить
дыхание русских бомжей.
Я сам бы проверил – уж точно,
да вот – на какие шиши?..
отправлю приятелю почту:
«Там рядом. Сходи, подыши».

РОЗЫ И КНЯЗЬ

Надо любить эту женщину.

Князь Ш.

Что-то было.
А что это было?
Било десять. Одиннадцать било
по ночному плацдарму зимы.
В этот час мы опять стали мы.
А теперь вот одни в этом мире,
в этом времени,
в этой квартире,
лёжа рядом, ещё смущены
(не присутствием ли тишины?).
Ты спроси что-нибудь. Я отвечу.
– Что мы пили в сегодняшний вечер?
– Да у князя какую-то дрянь.
То ли спирт, то ли в спирте герань.
– Князь прекрасно играл на гитаре.
– Да. Неслыханно! Он был в ударе.
– И ещё –
несмотря на мороз –
семь душистых пленительных роз.

– Нет, герань!..

Что ты так его хвалишь?

– Князь твой верный

и старый товарищ.

– Ты заметила? Он нас сближал.

И опять тишина. Ты уснула.

Сигарету достать бы со стула.

Значит – «жаворонок»? Я – «сова».

– Где ты? Qui etes vous?.. Ладно. Va!

Утром скажешь:

– Ведь где-то мы были?

Мы как будто там что-то забыли?

И тогда над тобой моя власть:

– Были розы.

Забыли украсть.

P.S. 1

Письмо Владимира Доронина Татьяне Шиллер

(на конверте каллиграфически выписан адрес Татьяны Шиллер, а в графе «адрес отправителя» только слова «В. Доронин», в письме этот момент оговаривается; авторская орфография, пунктуация и графические приёмы расположения текста сохранены; за содержание письма публикатор ответственности не несёт. – Е.С.)

Странноприимный
дом «Авдотьянка»

Февраля 18-го дня

В Лето от Р.Х. 1997-е

Милая Танечка, Татьяна Александровна!

Не удивляйся, что на конверте нет обратного адреса, такое «письмо военнослужащего срочной службы» не пропустит почта. Я же, как тебе известно, нахожусь на службе бессрочной. Пока в карантине. Цель этой двухнедельной изоляции моему пониманию не доступна (нас здесь пятеро; не считая сумасшедшей старухи Дуси, все здоровы). Видимо, администрация держит паузу, чтобы определиться, куда нас поселить. За последнюю неделю в интернате умерло двое, так что для двоих из нас уже уготованы спальни. «Текучесть кадров» здесь необычайно высока. Главный могильщик (нас в карантине часто посещают разнообразные «главные») подсчитал, что за прошедший год ему пришлось хоронить 85 постояльцев, и ещё 14 поехали в гробах на родину. Следовательно, за два с половиной года население почти полностью обновляется. Утекают «кадры» недалеко: у интерната есть собственное кладбище, чтобы не смущать местных пейзажистов. Дом, однако, ничем не похож на «фабрику смерти», и печальная статистика о самом доме, и о порядках, существующих в нем, ничего не говорит, вовсе нет. «Молодёжь» выбирает Авдотьянку, если ей предоставляется право выбора. Среди домов подобного рода Авдотьянка – лучший в области; точное его название – Шиловский дом-интернат престарелых и инвалидов. Но часто люди попадают в такие дома настолько изношенными, что благополучное будущее, глядя на них, и предположить невозможно. Кажется, большинство моих коллег обоего пола едут сюда не век доживать, а умереть в тепле под лозунгом «Изменим жизнь к лучшему». Во всяком случае, в карантине эта тема не редкость.

«Новую жизнь» мне приходится начинать в четвёртый раз. Не знаю, сбудется ли предсказание Вл. Вас. Нострадамуса – «Ты космополит. Приживёшься на любой почве». Три предшествующие жизни принесли мне полезный опыт: главное в этих условиях – суметь не прижиться. Надо начать с преодоления «Террора среды», а она здесь агрессивна – живи по-нашему.

Когда я ехал сюда, Л.А. Нефедова сказала: «Филатов устраивает там литера-

турные вечера». Мне эта затея показалась нереальной: судя по виду обитателей, если им и нужны какие-то зрелища помимо телевизора, то победой реализма было бы считать тараканьи бега. Так вот мой способ выживания – не сродниться со средой, не стать её частичкой, не впасть в поток уныния. И если писать об этом, то с позиций отстраненности, опираясь на постулаты Томаса Манна и Чеслава Милоша. Об этом потом.

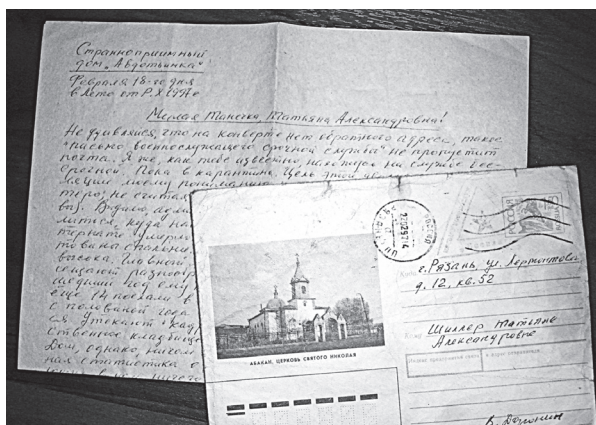
Здесь я думаю продолжать прозу. Новую прозу. Об интеллигенции, о разрушении ею же самой выстроенных идеалов, о потере и обретении своего места в жизни, о неприкаянности и бомжевании. Кн. I – «Без определённого места жительства». В неё должны войти повести «За тремя дверями» (В.В. Сёмин), «Подранок» (В.К. Петров), «Вариант Устинова» (Н.Н. Устинов), «Мой оберег верный» (полгода в гараже), «И другие...» (собирательное). Кн. II – В определённом месте жительства. Она, скорее всего, будет эпистолярной. Этакие «Избранные места из переписки с друзьями».

Так что можно считать, книга II начинается этим письмом.

Писать я буду А.Г. Грошеву, С.С. Карякину, дочери и тебе (больше других тебе). Если позволишь, я бы хотел сделать книжку с посвящением тебе. Об издании обещал похлопотать Ю.Н. Пахомов, московский писатель. Когда-то я читал ему свою прозу, теперь (в Москве) он возобновил разговор и даже собирался приехать ко мне в Авдотьинку.

Я не хочу, чтобы содержанием книги II стал «Дом скорби в 75 изумлениях» (у нас 75 палат или спален, называй как хочешь. Мои соседи по карантину называют их камерами: из 4-х все четверо в разное время побывали в тюрьмах). Надо постараться выловить из разговоров и рассказов коллег, каким образом они (я) добрались до дна. Ведь, что ни говори, интернат престарелых – последняя, нижняя ступень, на которую каждый из нас после восхождения совершил своего рода печальное сальто. Как это произошло напрямую спросить нельзя – люди сразу же закрываются.

*«Я вас прошу настойчиво и прямо:
Не приходите на мою траву.
Интересуемся другими зря мы,
Тревожа их во сне и наяву.»*



Так что надо ждать, когда собеседники заговорят сами. Кроме того я не оставлю старую прозу, роман (ведь ни как-нибудь!) «Второе пришествие». Хочу ещё восстановить по памяти рассказы «Проездом», «Благословение Святой Афонской горы», «Время делить пирожки», «Проездом», «Хоботов», «Воспоминание о вальсе», «Морское сено» и написать новые «Орлы», «Большеглазый тигр», «Великий Гогиев», «Египетские ночи», «Первая встреча с Николаевым», «Самая высокая крыша». Сейчас у Наташи остались лишь «Томик в избранном» и «Вопросы языкознания». Остальное сожжено.

Пока всего не сделаю, не умру.

Сейчас понял, что смогу отправить это письмо лишь после карантина. Здешний адрес: 391505, Рязанская обл., Шиловский р-н, п/о Желудево, дер. Авдотьянка, дом-интернат.

Ну все пока. Володя.

P.S.2



*Дом престарелых
«Авдотьянка».
Август, 2014 г.*



*Кладбище
дома престарелых.
Август, 2014 г.*

P.S.3



Дом на перекрестке улиц Первомайский проспект и ул. Дзержинского, где Владимир Доронин жил с матерью

Дом на ул. Дзержинского



P.S. 4

От составителя:

У отзыва Владимира Доронина нет названия – и я его не стала придумывать. В тексте публикации встретится разрядка букв, подчёркивания – это всё пометки Владимира Ивановича, которые я сохранила, так как на них возлагалось особое – интонационное – упование. В тексте в скобках кое-где добавлены мои примечания «из сего дня». Возможно, это некорректно... однако читатель увидит из текста, что Владимир Иванович обещал мне «поговорить». Выпади мне тогда такая возможность, я была бы счастлива. Выпади мне она сейчас (допустим, во сне), прежде всего я бы сказала, что его мнение о моих стихах слишком комплиментарно. Как критик, я вижу все их недостатки. Однако догадываюсь, чем они его привлекли – той же яростной «непасторальностью», «книжностью», которой «грешил» он сам. Думаю, что Владимир Доронин видел в чтении и разборе этого предмета приятность – ибо, полагаю, мои стихи «зацепили» его своей отчётливой, даже несколько показной, «нерязанскостью», отсутствием её избитых аксессуаров – берёзок, полей, крылечек... Это была городская лирика, тянущаяся к образцам поэтики, излюбленной Дорониным, но на дух не принимаемой местными авторами, и он одобрил её по принципу, близкому даже самому беспристрастному читателю: «Рыбак рыбака видит издалека».

Одна «белая ворона» увидела и признала другую.

Владимир Доронин. 1999 год.

Не примите за неуважение или за причуду, cherie poetesse, но мне придется сделать второй экземпляр письма: первый прочитывается лишь на ощупь – некоторые «особенности» моей техники превращают его в своеобразную «тайнопись»... (По словам Т. Шиллер у Доронина в машинке не было ленты, т.е. он печатал «вслепую!» – Е.С.)

Елена Анатольевна (да? или лучше все-таки – Лена?) (В.И. спутал моё отчество, но это, безусловно, простительно. Тогда меня вообще никто по отчеству не называл. – Е.С.). Проблема не в том, как найти подходящее к Вам обращение – я бы уж расстарался. Но обращение все же должно гармонизировать стило и смыслу «жанра», а что (с рукописным ударением на это слово – сомневался в «классификации». – Е.С.) я пишу сейчас? – отзыв о Вашей книжке? Так ведь Валера уже все сказал в толковом своем (и – праздничном!) предисловии. Есть ли необходимость теперь расставлять комплименты в другой последовательности?

Выдумывать же «Письмо к ученому соседу» мне и вовсе не хочется.

Договоримся так: я поделюсь впечатлениями от Ваших стихов (их не одно), покажу, что «заметил», поспорим немножечко, а?.. Вероятно, дополню в чем-то авдеевский мадригал. (Рад, что вы дружите: с ним хорошо дружить – он п о э т, на улице Астраханской (**Владимир Доронин имеет в виду помещение Рязанского регионального отделения Союза писателей России на ул. Ленина-Астраханской, д. 35. – Е.С.**) поэты – не все подряд, скажем так. Кроме всего, он из тех, кому доверил бедный пушкинский Импровизатор: «Вы поэт, и вы поймете меня лучше них, и ваше тихое одобрение дороже мне целой бури рукоплеканий». Что ж, одобрение он как поэт Вам уже выдал, да как его и не дать – Вы искусница. Мне как читателю остается похлопотать о буре рукоплеканий, чем я и буду занят на этих страницах. Ладно?..).

Приступим.

*Глаза молчали. Мимо них
Струились мошки вуалеткой. (!)
Стояла пыль в зените лета,
Стоял зрачок внутри портрета, (!!!)
Стояли медленные дни.*

Когда поэт умеет такое, хочется заорать: «Всё, братцы, всё – оставьте наедине со стихами, и больше мне ничего не нужно, car tout le rest est gâterie: «все остальное – баловство», как говорил Арагон (хотя он этого не говорил). Несмотря на печальную сущность стихов, от них ко мне катит радость. Вы, может быть, поймете меня сейчас. Я однажды захохотал, слушая вторую часть печальной шопеновской сонаты Си-минор. Это было в концертном зале Дома ученых, я вдруг почувствовал пастернаковское чудо:

*Шопена траурная фраза
Вплывает, как больной орел...*

Я был с ч а с т л и в, и разве не захохочешь, когда человек умеет такое? Шопен ли, Софроницкий, Пастернак – я не знаю, кто из них в тот момент на меня подействовал так, но я был счастлив, слушая реквием (!). Хорошо, что моя хорошо воспитанная спутница увела меня из четвертого ряда (и вовсе из зала) – я чуть не испортил концерт В.В. Софроницкому.

(Вам не испорчу, я даже не знаю, где теперь выступают поэты – в «Стойле Пегаса»?)

Я собирал когда-то коллекцию знаменитых метафор, просто – чтоб любоваться. От Маяковского, Мандельштама, Олеси, Булгакова, Пильняка, Пастернака, Светлова, Катаева, Ильфа с Петровым, Набокова. Саня Архипов там тоже наличествует. Дополню теперь и Вашими, rouqroui ras? В самом деле – «распятие медицинских фар» едва ли слабее, чем «лужи, валявшиеся под деревьями, как цыганки», а «скудная лепта падающего ножа гильотины» не так уж скудна, если иметь в виду вклад в коллекцию. Вас будут цитировать не всегда так, как Вами написано, но красивый текст всякий раз провоцирует читателя на некоторые вольности – об этом мы еще поговорим. Кстати,

прислушайтесь – ч т о из Ваших стихов, к т о (и даже – к о м у) будет читать: зная, кто на что способен, будете знать, на что способны Ваши стихи.

Но – о метафоре. Я хорошо понимаю, что стихотворная техника решает не ремесленную, а родовспомогательную задачу. Однако статное, хорошо ухаженное слово радует и без всякой связи с проблематикой. Радует не одного меня – можно обратиться к опыту великих, вспомните «лавку метафор» Ю.К. Олеси.

Только не зарвитесь. Настораживает, например, *«улица, широкая, как знамя»*. В письме Цветаевой к Пастернаку: «Я не люблю моря. Не могу. Столько места, а ходить нельзя». Видимо, я не смог бы наступить на мостовую, широкую, как знамя. Инстинкт самосохранения, что ли...

Поскольку уж занялся «крохоборством», то, чтобы не возвращаться потом, давайте-ка выложу сразу всё, что в Ваших стихах представляется мне... ну, н е т о ч н ы м, скажем так. Ведь и одно неточное способно выбить строку из образа.

«Я чесала волнистые косы». Чесала? Сразу же вспоминается Козьма Прутков: «... и чесать, где чешется». Если расчесывала, то тогда уж не косы, а волосы. Тут как-то надо быть...

«Позвоночник стягивает дрожь». Это – вряд ли: если дрожь все-таки доберется до позвоночника, то не стянёт, т.е. не с т и с н е т, она – не корсет. Ей по назначению ближе «пляска святого Вита».

«Когда заветом слишком лживым». Существует ли в человеческих отношениях норма лживости, существует ли лживость не слишком опасная? Нет, ложь – категория. Такая же четкая, как порядочность или предательство. Или – подлость. Мы не можем сказать: «Этот человек немного порядочен» или «сравнительно подл», или «чрезмерно предатель». Представьте себе ч р е з м е р н о предателя!.. **(К сожалению, отлично представляю и даже персонифицирую по именам-фамилиям. – Е.С.)**

«Ветр»... Антиквариат, конечно, имеет право на существование в стихах современного поэта. А все же «ветр» хорош в компании со своими – со «златом», «брегом», с какой-нибудь там «десницей» или «власами» – в их времени. Вот есть у Вас такие стихи:

*Не пенился вином золотой бокал,
И гусяры заздравную не пели.*

Тут всё тактично. **(А на мой сегодняшний взгляд – слишком манерно. – Е.С.)** Но по соседству с «черепом микрорайона» ветер выглядит привозным, чужеродным.

Или вот – еще:

*Я люблю в наступившую мглу
Окунать свои бледные н о г и.*

По-моему, это явная дань В.Я. Брюсову – нет? **(Конечно! – Е.С.)** – «О, закрой свои бледные ноги». Символисты манерничали на этот лад н а м е р е н

но, это входило в эстетику декаданса. (Вспомните! – конь б л е д н ы й и даже – конь б л е д ! – у Мережковского, кажется, или у Савинкова). Стоило ли возрождать сегодня эту эстетику? Как выглядела бы сейчас, в стихах современного автора, реминисценция того же Брюсова – «Дремлет Москва, словно самка спящего страуса»? Ведь потешно... У Вас достаточно собственных изобразительных средств: цикл «Московская лирика» это доказывает.

Улыбка улыцы щербатой

Бесхитростно обнажена, –

ведь вот обошлись же с этой улыбкой без бледных зубов!..

В некоторых случаях стоило бы, по-моему, разлучать стихотворения, не уживающиеся друг с другом на одном листе.

Давайте поговорим об этом подробно: вопрос ведь не только «выставочный» – художники занимаются им специально – но это еще и забота о самочувствии персонажей (уютно ли им быть соседями?) Образ, скроенный ладно, но расположенный рядом с более сильным, может изменить свою суть (даже – на противоположную).

Вот стихотворение «Но если я – прельщенья сеть...» Оно не из «проходных», не из эпигонских, скорее наоборот – из оригинальных, даже с долей обязательности: такое стихотворение должно присутствовать в Вашем сборнике. Окажись оно где-нибудь в середине книги (предположим – в обойме с «Гетерой» и циклом «Любовницы»), читатель бы «весь испереживался». Ну в самом деле – разве не жаль эту несчастную бабу? – пользуются ею, как черви яблоком, её же и травят. А как умеет травить наш воинствующий мещанин, читателю ведомо. И он рад, что хоть в этом случае жертва может как-то ответить своим навязчивым потребителям.

Но стихотворение попадает на один разворот с другим, очень сильным (!) стихотворением – «Буду в черном, буду в красном, буду в голубом...» Оба они расположены в финальной части сборника, где автором припасены особые смысловые акценты. И тут первое проигрывает сразу (это бы еще – куда ни шло, но беда в том, что его героиня получает в читательском восприятии совсем другой образ). Когда читатель сравнивает двух этих милых дам (чего ему нельзя было позволять!), он подмечает обстоятельства, в которых действуют Ваши персонажи, и – соответственно – их характерные черты:

– обе оскорблены, но первая – хороводом хамья, а вторая – жестокостью целого мира (!);

– у первой ко времени ее встречи с читателем не осталось ни грамма гордости: «... и если я сосуд греха, то вы давно меня разбили», вторая же – воплощенная гордость: «Буду, буду, буду сметь я...»;

– монолог первой замышлен, по-видимому, как протест слабодушного человека, второй – как апология сильной личности;

– если первая нуждается в защите автора (а следовательно – и читателя), то вторая, пожалуй, не примет ничьей защиты.

Первое стихотворение называется «Женщина – мужчинам». Тут заметна одна, скажем так – д е т а л ь: отождествление мужчин с «мужчинами» – весьма распространенная подмена, которая обычно сразу не и разоблачается. Ведь проба мужика на настоящесть – это его отношение к женщине; все остальные доблести нашего брата – важны, но вторичны. **(Высказывание Владимира Ивановича благородно, справедливо и... архаично. О нынешнем вырождении тех, кто гордо зовёт себя «мужчинами», здесь говорить не хочется. – Е.С.)** Если после такого анализа последует рывок читательского темперамента (и – воображений, ведь не запретишь!), то образ второй поднимается до трагедийного уровня, а первая... извините, но очень похоже, что первая вовсе уходит. Из поэзии в быт, чего читатель и без стихов навиделся вдоволь.

Что говорят так называемые «мужчины» первой, ясно из реплик в начале каждой строфы. А попробовал бы кто-нибудь разговаривать так со второй!.. И в голову не придет: между людьми ее круга таких не сыскать, для мужчин такая женщина – власть! В красном ли, в черном, в норвежском или в испанском, в рубище ли, в обносках чужого тряпья – все равно:

<i>...На ней манто из ночи,</i>	<i>...Я ничего не хочу ждать,</i>
<i>перчатки – из зари! (Сельвинский)</i>	<i>Кроме твоих</i>
	<i>драгоценных шагов (Асеев)</i>

Теперь читатель вправе считать, что шестнадцать строк последнего стихотворения (я считаю – *c'est votre petit chef-d'oeuvre poetique a seize lignes*) – это ее тронная речь. Но это и слово перед казнью, и – прощанье, и – реквием. А еще – это гимн. А еще? – отчаянная угроза живущим, звучащая уже почти оттуда:

*Буду, буду, буду сметь я
Ваш смущать покой!*

Впрочем, ответ на эту угрозу был найден еще в девятнадцатом веке:

*О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы, –
Я тень зову воскресшей милой:
Ко мне, мой друг! Сюда, сюда! (Пушкин)*

Итак, в подданстве у нее – русские поэты, народ великий. **(Как это великодушно сказано! – Е.С.)**

Соответственно этому читательское восприятие видоизменяет и образ другой героини (первой «по нумерации»). В сравнении с «королевским монологом» ее речь представляется теперь чем-то вроде искового заявления. Только в суд она с ним не пойдет. Знаете – почему? Испугается, что ее защитят. Вдруг разгонят к чертям свинячьим всех этих... как их?... «мужчин»... Отнимут единственную привилегию – демонстрировать *urbi et orbi* разбитые черепки греха... Что тогда? Чем ей тогда «спекулировать»? Читатель советует: «Ты уж живи, как жила до сих пор. Тебе нравится ощущать себя жертвой

– валяй! Тебе нравится твой дурацкий сосуд?.. Эй, публика! Как вас там? – «обиле любовников!»! Скиньтесь по трешке, купите ей новый флакон...». После того, как читатель узнал трагическую героиню, он перестает сочувствовать бутафорской: «Играй в свою «правду», а в королевы и в праведницы не лезь: там – плаха».

Она и не лезет, но всюду, где наш подлый мир казнит королей, присутствует и эта... как ее?... «женщина», вот уж она-то – бессмертна. Взгляните! – вон она, распевает на Гревской площади свой «сентиментальный романс».

Не стоило бы так пространно разглагольствовать здесь о читательском восприятии поэзии, но Вы-то имеете дело с печатным словом, а это значит, что с самого момента написания стихов (и уже в этот момент) вынуждены считаться с чужими вкусами, мнениями, желаниями. **(Тут над машинописным текстом приписка рукой В.И.: «Дальше – за неимением гербовой пишем на простой». Как изящно оформлено всё – и переход на жёлтую тонкую бумагу, и скудость жизни в доме престарелых в Авдотьянке, и «поклон» вышедшей из моды галантности! – Е.С.)** Не считайтесь, очень прошу Вас. То, что я наговорил Вам сейчас в письме, может быть принято Вами к сведению – не более того: на всякий чих не наздравствуешься. Однако важно каким-то образом понимать и тех, кому на Ваши стихи, на Ваше видение поэзии «не начихать».

Нормальное стремление поэта – узнать, есть ли у него свой читатель, обычно парируется фальшивым, на мой взгляд, советом: «Ты для народа пиши». Между тем, что за общность такая – народ – на улице Астраханской известно лишь А.И. Сенину. Ему же, кроме того, известно, что есть русская национальная идея, какова наша литературная традиция, что за люди – «плеяда рязанских поэтов-последователей С.А. Есенина», и почему употребление иностранных слов в творчестве современных русских считается неприличным. **(Владимира Доронина нет на свете уже больше десяти лет. Если такого сарказма достаивался из его уст Анатолий Сенин, человек взглядов консервативных, однако обладавший минимумом культуры и литературной подготовки, то как бы он отреагировал на нынешний «актив» местного Союза писателей России, бравирующий своей «русскостью», но путающий её с необязательностью расширения кругозора и чтения «нерусских» авторов? – Е.С.)** Для выпускника РГПИ этого даже много **(Доронин не успел узнать, что РГПИ в 2005 году переименовали и реформировали в университет. – Е.С.)**, а для поэта – и мало, и лишнее. Взять хотя бы наследование творчеству С.А. Есенина. Для наших это – вполне идиотское (чуть ли не религиозное) служение его памяти... Экий вздор! Есенин – ледокол, проделавший 100% работы и по несчастью оставивший нашим лирикам полынью, в которой они теперь вот уже 40 лет барахтаются всей компашкой. Первым оттуда, угробив молодость, выскочил Женя Маркин и сразу ушел в своем

направлении. А Валера Авдеев вообще туда не совался – честь ему и хвала. **(Не согласна в оценке творчества Авдеева, точнее, его «не-есенинского» про-тагонизма, хотя мнение В.И. для меня авторитетно. Но Валерия Авдеева уважаю за то уже, что, года за два до смерти, показывая мне новое стихотворение, он заранее знал, поняв со всей беспощадностью, что исписался, что это стихотворение – полностью вторично и не заслуживает права на жизнь. – Е.С.)** Служить можно только литературе, служение же памяти литератора (хоть какого!) – занятие для его внучатых вдов.

Вы идете в литературу со своей темой, и потому Ваши стихи будут читать запоем, как водку пьют. Параллель между чтением стихов и водкопитием вряд ли нова, но кажется мне удачной. Я нахожу в ней только один изъян: можно представить себе отчаянного забуддугу, пьющего за неимением водки денатурат, но я никогда не видел библиофила, перечитывающего плохие стихи за неимением хороших. **(Очень славная аналогия, и ирония верная, но поняла я её, только заделавшись критиком! – Е.С.)**

В любой аудитории у Вас всегда найдется почитатель с добрым сердцем и отзывчивой душой, но он – не прима. Он может и не заметить, что среди тысяч несчастных женщин Вы выбираете в персонажи лишь тех, чья судьба – трагедия. А за первый читательский сорт (мужчин) Вы, вероятно, примете тех, кто способен взять на себя вину. **(Таких мужчин я не встречала. – Е.С.)** Поэт О.Э. Мандельштам в этом смысле – не показатель. Я говорю сейчас о его знаменитом обращении к жене:

– Кто тебе сказал, что ты обязательно должна быть счастлива?

Ну ведь правда – дикарь? Не на Галку Чернову нарвался – не поздоровилось бы почтенному «троллю».

Простите великодушно – Вам-то не до иронии.

Скорее всего Вы не делите Читательское восприятие по сортам. Это было бы кстати: боюсь не попасть в элиту. А хочется. **(Пусть душа Владимира Ивановича будет спокойна! Он один из самых лучших читателей, которых я когда-либо встречала. Если ему угодно слово «элита» – да, он элитарный читатель и потому – великолепный критик! – Е.С.)**

Мое впечатление сразу же после прочтения книги – она ошеломляет, первое ощущение – тревога. Первое движение души – надо же что-то немедленно делать: помчаться куда-то, кого-то успеть спасти... Или всё кошмарное уже произошло? Спасать просто некого?.. Есть кого – Верди: не даму с камелиями Маргариту Готье, не m-lle Виолетту, нет – именно Верди! Если бы я конструировал мир, я бы сперва сотворил тех, кто способен спасать, чтобы спасать тех, кто способен творить. Богу я не доверил бы ни на грош: он свой шанс использовал довольно бездарно.

Разумеется, я не хочу оскорбить чью-то религиозность, но без долевого участия поэтов в сотворении мира он оказался ни с чем не сравнимо жесток: в нем не хватает ответственности и, по-моему, запрещено благородство. **(Ве-**

ликий русский поэт казахского происхождения и канадского подданства Бахыт Кенжеев говорил примерно так же: «Люди читают стихи – и меньше, меньше, меньше! – стреляют друг в друга! Каждая строчка Пушкина – это не убитый человек!». – Е.С.)

Но разве раньше – до Вашей книги – я всего этого не понимал? Понимал, но ведь не волновался так, все это видя. Лет этак пятнадцать последних не волновался, ни один мускул не дрогнул. Нет, помню – шатало меня от Валеркиного «Маленького лешего»... И вдруг приходит новый поэт. Он не знает, что мне привычнее бежать от такого знания, чем навстречу к нему. Вот типовой проект рассуждений: «Этот мир придуман не нами»: «Обвиняй кого хочешь (бога?), но только не меня, прошу – не меня». Самое надежное средство сохранить в чистоте свою совесть – это упрятать ее в сундук, как пушкинский Барон прятал золотые. Упрятать, спускаться к ней иногда – «Как ты тут, моя совесть? Чиста?». Уж конечно она чиста, как всё, что никогда не находилось в употреблении... И созревает моя благодатная старость, спасительная безобразная старость, обогревающая лицемерие – когда можно сдать себя на пороку собесу, а совесть вытащить из сундука и размахивать ею, как флагом, покрикивая на молодых: «Эй! Что же вы, смотрите! Мир-то жесток! Мир-то грязен!».

Тут, как всегда некстати – ах как некстати! – приходит поэзия. Ташит к себе из летаргического забытья твое упирающееся, спесивое, залежалое благородство, твою некогда обостренную восприимчивость к чужой боли и прочие молодые доспехи. И заново учит носить их.

Такой вот ассоциативный ряд – как реакция на Вашу книгу. Странный ряд, да?.. Не странный: эгоистичный – пожалуй, да. Но искренние стихи хороши уже тем, что вызывают в нас замыкание на себя. Потому что поэзия – это не только искусство преодоления смерти, это еще и искусство обратных связей. Искренность поэта позволяет нам присвоить какую-то долю авторских чувств.

Вы вступаете в литературу еще и с темой. Ваши трагические героини уже ушли от Верди, от Смрека, от Чеслава Милоша ... нет, все же надо чинить мою «машинопись» – сколько уж я тут натворил исправлений!.. Ну, Чеслав Милош – нобелевский лауреат, польский поэт-катастрофист, о нем хорошо бы когда-нибудь поговорить. У него есть один творческий прием, который Вам пригодился бы.

Так вот – у Вас нет предшественников: ни Дюма-сына, ни Верди, ни Греты Гарбо с ее прекрасной Дамой, ни Миреллы Френн, поющей эту даму в декорациях La Scala, ни Вивьен Ли, осточертевшей Лоуренсу Оливье вместе с ее Эммой, – никого. Или, вернее, так: есть и Эмма и Виолетта, они Ваши сверстницы, Ваша литературная собственность. С такой темой в литературу идут только власть имущие.

Словом, все впереди.

PS. Желаете эпиграф из Арагона к Вашим стихам? Я его где-то здесь цитировал, но... с середины. Дословно так: «...gui parles d'amour, car tout le rest – est crime» – «Да говорите о любви, ведь всё другое преступление». Он к лицу названию какой-нибудь Вашей книги.

Или это уж – мой закидон? (автограф)



*Лидия Нефедова, Татьяна Шиллер, Владимир Доронин.
Константиново, 90-е годы*

Предисловие.	
Владимир Доронин. «Колокола, бегущие меж облаками»	1

ЭПИЛОГИ

17-е ноября	
Сонет	
Терема.....	26
«Я хочу теперь очень-очень...»	
Путник.....	27
По прочтении трагедий	
Экстраполяция	28
В театре	
Маргарита и Мастер.....	29
Английское начало	
«Наша пьеса кончается. Занавес...»	
«Помру – кому достанутся стихи?..».....	30
«Я думаю – сбудется ясная осень...»	
К портрету	
«Ваше сиятельство!..».....	31
Катон (Из «Дополнений в «Corpus Caesarianum»)	
Женщина с фиалками	
Мария Вардановна (1950).....	32
Гадание на пластинках	33
«Беарн, Гасконь, Альбре – владей! Твои...»	
«Порой мечусь в глухом отчаяньи...»	
«Попрание супружеского долга?..».....	34
Мужская школа (очерк).....	35
Эпилоги. 1. «Поэт, как в «Гамлете» – он был Король!..»	
2. «В трудах, в огне, в час первого соитья...»	36

СТИХИ БЕЗ ПОЭТА

1. «А город был листвою ещё увенчан...»	
2. Концерт Сергея Мартынова	37
3. Polaci.....	38
Из концертных номеров 1983	
4. «Среди ночи звонок...»	
5. «У открытой эстрады...»	
6. 1967.....	40
7. «Милое детство».....	41
8. «28-е июля...».....	42
9. «Я стою на платформе...»	
10. Славянофильское	
11. Подражание песне	43
12. До-диез минор	
13. До-мажор.....	44

14. Библиотека	
15. Оленьке Чекмарёвой	
16. Тема	45
17. «Литератор без сюжета...»	
18. Предводитель дворянства.....	46
19. «Индюльгенции выданы...».....	47
20. По одежке	
21. «Кавалеры твои надоели...»	
22. Гравюра.....	48
23. Стихи, проигранные Татьяне в споре по смешному поводу	
24. Подражание Кедрину.....	49
25. Подражание Пушкину	
26. Начало.....	50
27. Мы (1940)	
28. Звон и весна.....	51

TOUТ A' TOI

1. «Я сослан. Ах, в самом же деле...»	
2. «Я вернулась!..»	
3. «Смяты фланги, и флаг не полощется...».....	52
4. «Рассорились. Ты сказала...»	
5. «На высоком белом...»	
6. «Какой-то час какого-то числа...»	
7. «Троллейбус. Ты. Глаза летают...»	53
8. «Пришла. Читаешь наконец...»	
9. «Сначала бал!..»	
10. Достоинства не поддаются смете...»	54

РЕМЕСЛО

Родословная художника	
Цезарь (Из «Дополнений в «Corpus Caesarianum»)	
Цицерон	
Египетские ночи	55
Брут.....	56

БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

«Не вижу стихов для потехи...».....	56
Розы и князь. «Что-то было. А что это было?..».....	57

PostScriptum

PS 1. Письмо Владимира Доронина Татьяне Шиллер	58
PS 2. Дом престарелых в Авдотьянке. Фото	60
PS 3. Дома, где в разное время жил В. Доронин. Фото.....	61
PS 4. Критический разбор книги стихов Е. Сафроновой «Хочу любить».....	62
PS 5. Единственное сохранившееся фото В. Доронина.....	70